A close-up, high-contrast portrait of Vladimir Putin, looking slightly to the right. The lighting is dramatic, with deep shadows on the right side of his face and highlights on the left. His expression is serious and contemplative.

ПРОЩАНИЕ С ИЛЛЮЗИЯМИ

ВЛАДИМИР

ПОЗНЕР

О СЕБЕ, ВРЕМЕНИ И РОССИИ С ПУГАЮЩЕЙ ОТКРОВЕННОСТЬЮ

Владимир Познер
Прощание с иллюзиями

«Издательство АСТ»

2012

Познер В. В.

Прощание с иллюзиями / В. В. Познер — «Издательство АСТ»,
2012

ISBN 978-5-271-40978-3

Книгу «Прощание с иллюзиями» Владимир Познер написал двадцать один год тому назад. Написал по-английски. В США она двенадцать недель держалась в списке бестселлеров газеты New York Times. Познер полагал, что сразу переведет свою книгу на русский, но, как он говорил: «Уж слишком трудно она далась мне, чуть подожду». Ждал восемнадцать лет – перевод был завершен в 2008 году. Еще три года он размышлял над тем, как в рукописи эти прошедшие годы отразить. И только теперь, по мнению автора, пришло время издать русский вариант книги «Прощание с иллюзиями».

ISBN 978-5-271-40978-3

© Познер В. В., 2012
© Издательство АСТ, 2012

Содержание

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Вместо предисловия | 6 |
| Глава 1. Моя Америка | 8 |
| Глава 2. Лимб | 113 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 150 |

Владимир Познер

Прощание с иллюзиями

ПОСВЯЩАЕТСЯ МОИМ РОДИТЕЛЯМ

GERALDINE LUTTEN

ВЛАДИМИРУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ ПОЗНЕРУ

Как на проводе пичуриска,

Как в полуночном хоре пьянчуриска

На свой лад быть свободным хотел.

Леонард Коэн

По крайней мере я попытался.

Рендал Патрик МакМэрфи в фильме «Пролетая над гнездом кукушки»

Вместо предисловия

19 ноября 2008 г.

Кажется, это было в 1987 или 1988 году. Я тогда познакомился с Брайаном Каном, сыном известного американского журналиста, писателя и общественного деятеля Альберта Кана, с которым прятельствовал мой отец, когда, живя в Америке, работал в кинокомпании MGM. Кан-старший был коммунистом, горячим сторонником СССР, и сын его, Брайан, побывал раз или два в знаменитом лагере «Артек». Во времена маккартизма его отца занесли в черные списки и лишили работы. Взгляды и опыт отца не могли не повлиять на формирование Брайана, который хоть и не стал коммунистом, но придерживался левых либеральных взглядов. Время от времени он приезжал в страну, поначалу представлявшуюся ему мечтой человечества, но и потом, когда его постигло разочарование (замечу в скобках, это случилось со множеством подобных людей, уверовавших в свое время в Советский Союз), он не терял с ней связи.

Если мне не изменяет память, наше с ним знакомство произошло благодаря его приезду на Московский международный кинофестиваль, куда он привез свой документальный фильм о советско-американском сотрудничестве по спасению, кажется, сибирского журавля. Словом, мы встретились, стали общаться, и в какой-то момент Брайан сказал, что мне следует написать книжку о своей жизни. Я ответил, что мне некогда, и он предложил приходить ко мне домой каждый день часа на два-три, задавать мне вопросы, записывать ответы на диктофон, затем расшифровать и разбить все это на главы. Я согласился, но с условием, что стану говорить только о политической стороне моей жизни, а не о личной. На том и договорились. Записав кассет сорок, Брайан уехал к себе в Монтану, откуда через два или три месяца прислал распределенный по главам текст. Я по нему слегка прошелся, сообщил Брайану, что тот может искать издателя, и забыл думать об этом.

Прошло еще месяца три, прежде чем Брайан позвонил:

– Владимир, я показал эту рукопись одному замечательному редактору, приятелю моего отца, и он сказал, что хотя это очень интересно, ни один издатель не захочет опубликовать ее в таком виде – без какой-либо информации о тебе, о твоей личной жизни, понимаешь?

– Ладно, Брайан, я подумаю, – ответил я ему.

И приступил к написанию книжки заново, выбросив все, что мне прислал Брайан. Писал я года два, как помнится, после чего отправил рукопись знакомому американскому литературному агенту Фреду Хиллу. Прочитав книжку, Фред позвонил мне, сказал, что она понравилась ему и что он свяжется со мной, когда найдет издателя.

Спустя два месяца он сообщил:

– Владимир, я сделал нечто такое, что литературные агенты редко делают, – я послал твою рукопись сразу семи самым крупным издательствам Америки.

– И что?

– А то, что все семь ответили отказом – некоторые сразу, некоторые потом, но отказались.

Помню, как при его словах я испытал одновременно два чувства: разочарование и облегчение.

– Значит, это конец?

– Нет, это значит, что твоя книжка станет бестселлером.

– ?

– Да-да, наберись терпения.

Я не знал что и подумать, но вскоре Фред позвонил с радостной новостью: издательство The Atlantic Monthly Press купило права на публикацию моей книжки и готово выплатить мне сто тысяч долларов. Сумма меня потрясла. Моим редактором должна была стать некая Энн

Годофф (замечу в скобках, что это издательство хотя и не числится среди крупнейших, имеет очень высокую репутацию в литературных кругах – я это знал; чего я не знал, так это того, что Годофф считалась – да и считается – одним из самых знающих и сильных литературных редакторов США. Ныне она возглавляет издательство Penguin Books).

Книжка вышла в 1990 году и – к изумлению всех, кроме Фреда Хилла, – вскоре попала в престижнейший список бестселлеров газеты The New York Times; продержалась она там в течение двенадцати недель.

Как вы, возможно, догадались, я написал эту книгу по-английски. Я рассудил так: поскольку моя сознательная жизнь началась с английским языком, я и напишу книжку на нем, а потом сам переведу ее на русский.

Книга, однако, далась мне с огромным трудом, со страданиями. Она меня совершенно измотала, и наконец закончив ее, я и подумать не мог о том, чтобы взяться за русскоязычный вариант. «Подожду немного, отдохну, – говорил я себе, – и затем примусь за перевод». Мысль о переводе меня никогда не оставляла. Многие советовали мне отдать ее на сторону, но это было невозможно: слишком личное, я бы даже сказал, интимное содержание не позволяло мне доверить ее кому бы то ни было. Шли годы. Несколько раз я брался переводить и каждый раз бросал, так по существу и не начав. Прошло восемнадцать лет, и вот наконец я книжку перевел. Дав ей отлежаться некоторое время, я с чувством выполненного долга стал читать русский вариант... и ужаснулся: я понял, что в таком виде она выйти не может. Столько всего произошло в моей жизни за эти восемнадцать лет, столько изменилось в моих взглядах, столько из того, что казалось мне верным тогда, сегодня верным не кажется... Как быть? Можно было, конечно, «осовременить» текст, так сказать, подправить его, и тогда мой читатель поразился бы тому, что я еще восемнадцать лет назад был необычайно прозорлив...

Я решил оставить книжку такой, какой она была. Но при этом снабдить каждую главу своего рода комментариями к написанному, комментариями, отражающими мои сегодняшние взгляды, – эдаким хождением взад-вперед во времени.

Что получилось и получилось ли – не знаю. Но этого не знает никто из тех, кто пытается свои мысли выразить словами и положить их на бумагу.

Глава 1. Моя Америка

Я совершенно ясно помню один день из детства. На чердаке загородного дома друзей моей матери я играл – тянул за веревку деревянную лодку. Собственно, я хотел отвязать лодку, но узел не поддавался, хоть я и старался развязать его изо всех сил. Мне скоро стало ясно, что во всем виновата лодка. Шваркнув ее об пол, я стал пинать ее. Я был вне себя от гнева. Тут появилась мама.

– Почему бы тебе не пойти вниз? – предложила она. – Там есть один господин, который очень хорошо развязывает узлы. Я спустился и увидел мужчину, сидевшего на диване. Быть может, мне изменяет память, но я и сейчас вижу его глаза: желтовато-зеленоватые, чуть насмешливо на меня смотрящие. Правда, меня это нисколько не заботило. Я подошел к нему, поздоровался и попросил помочь мне развязать узел. Он сказал:

– Что ж, попробую, – взял кораблик и стал возиться с веревкой. Я наблюдал за ним крайне внимательно, и почему-то сильное впечатление произвело на меня небольшое вздутие, которое я заметил на безымянном пальце его левой руки. Он легко справился с узлом, отчего я почувствовал себя неумехой, и отдал мне кораблик. Я поблагодарил его. А мама сказала:

– Это твой папа. Он приехал в Америку, чтобы увести нас назад во Францию. Мне было пять лет.

Не помню, чтобы эта встреча тогда произвела на меня впечатление. Не помню также, чтобы я особенно скучал по отсутствовавшему отцу в течение первых пяти лет своей жизни. Раньше у меня не было папы, а теперь он появился, вот и все. Двигаясь по туннелю времени к тому далекому дню, я не ощущаю волнения: ни мороза по коже, ни холодка в животе – нет ничего, говорящего о том, что память задела и разбудила какое-то спящее чувство.



Мне 5 лет. Детский сад в Париже

И все же, этот день был для меня судьбоносным. Не приехал бы за нами папа – и моя жизнь пошла бы по совершенно другому руслу.

* * *

Моя мать, Жеральдин Нибуайе Дюбуа Люттен, была француженкой. Она, ее брат и три сестры родились в благородной семье, предка которой сам Наполеон наградил баронством за верную службу. Дворянский титул вскоре стал частью семейных легенд и толкований, событием громадного значения. Я проникся подлинным пониманием сего лишь в 1980 году, когда двоюродный брат моей матери пригласил меня с супругой на ужин в свой парижский дом. Мы были введены в комнату, и нам представили портрет «прапрапрапрадеда», а также баронскую грамоту, висевшую рядом в позолоченной раме, с такой торжественностью и благоговением, будто речь идет о Святом Граале.

Моя мать относилась к баронскому титулу с иронией и куда больше гордилась другим своим предком, первой великой суфражисткой Франции Эжени Нибуайе. Когда в 1982 году был выпущен спичечный коробок с ее изображением на этикетке, да еще с цитатой из ее работы 1882 года «Голос женщин», это вызвало у мамы настоящий восторг.

Наша семья удовлетворяла как тщеславие одних своих членов, так и общественный темперамент других и в этом смысле соответствовала самым разнообразным вкусам, но одного ей явно не хватало: денег. Именно это привело к тому, что моей бабушке, женщине поразительной красоты и великолепного образования, не получившей от родителей в наследство ничего

и дважды овдовевшей к тридцати пяти годам, пришлось в одиночку добывать хлеб насущный для себя и для пятерых своих детей. Это проявилось в самой разнообразной деятельности – от управления замком для приема богатых туристов во Франции до обучения хорошим манерам и французскому языку перуанских барчуков в Лиме. Мама на всю жизнь запомнила переход через Анды – тогда она болталась в корзине, привязанной к спине ослика, и глядела вниз в бездонные пропасти. Быть может, именно тогда, в возрасте трех или четырех лет, она обрела страх высоты, от которого не избавилась до конца жизни.



Рауль Дюбуа, скорее всего, мой дедушка

Дети, перебираясь из страны в страну, получали лишь поверхностное образование и в конце концов были размещены матерью в школы-интернаты. Моя мама попала в школу при католическом женском монастыре в городе Дамфризе в Шотландии. Завершив там учебу, она вернулась в Париж, где устроилась работать монтажником во французском филиале американской кинокомпании Paramount. Вскоре она встретила моего отца.



Эжени Нибуайе, моя бабушка со стороны мамы, и ее первый муж Эрик (?) Люттен

Сказать, что его семейные обстоятельства отличались от ее, значит не сказать ничего. По сути дела, они не сходились ни в чем. Предки отца, испанские евреи, еще в пятнадцатом веке бежали от инквизиции и остановились, лишь достигнув города Познани, где и осели – отсюда фамилия Познер. Через несколько веков, уже после того, как Польша стала частью Российской империи, один из более предприимчивых представителей рода Познеров пришел к выводу, что в централизованном государстве выгоднее всего жить в центре, то есть в Санкт-Петербурге, и отправился туда. Насколько мне известно, один из его не менее сообразительных потомков, прикинув, что в России явно лучше быть русским и православным, нежели евреем, стал выкрестом, тем самым одарив эту ветвь клана привилегией считаться русской и, что более существенно, освободив ее от традиционной для России дискриминации евреев.



Бабушка незадолго до смерти

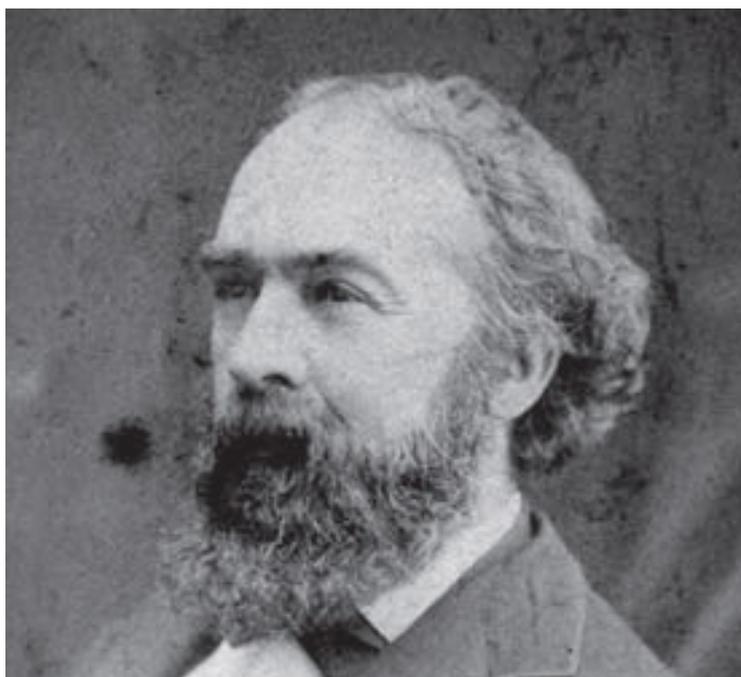
* * *

Может быть так, а может, и нет. Через несколько лет после выхода книги я разговаривал со старшей сестрой отца, Еленой Александровной Вильга (по мужу), которая горячо доказывала мне, что никаких выкрестов в семье не было. Лёля – так звали ее близкие – была совершеннейшей атеисткой, как и все члены семьи, но, уехав из Нью-Йорка во Флоренцию в начале шестидесятых, стала активисткой местной русской православной церкви, хотя и продолжала отрицать существование бога (пишу со строчной буквы, поскольку и я атеист). Лёля никогда не стеснялась своего еврейства (в отличие от своей младшей сестры Виктории и моего отца), но абсолютно игнорировала все правила поведения, которые должен соблюдать правоверный иудей. Когда года за два до своей смерти она тяжело заболела, ее хотели разместить в еврейской клинике (там лечат бесплатно и на высшем уровне), для чего потребовалось предъявить бумаги, подтверждающие, что она еврейка. Таковых, понятно, не было. Пришлось дать небольшую взятку одному нью-йоркскому раввину, который в письменном виде засвидетельствовал, что Лёля, живя в Нью-Йорке с 1925 по 1962 год, регулярно ходила в

синагогу и соблюдала все еврейские праздники. В больницу ее взяли. Там она и умерла. Она похоронена во Флоренции на еврейском кладбище.



Моя мама еще до знакомства с моим папой. Париж



Мой прапрадед с маминной стороны, знаменитый юрист, кавалер ордена Почетного легиона Жан Полен Нибуайе.



Шато, которое снимала моя бабушка, чтобы сдавать его богатым гостям

Виктория, она же Тото, тоже отрицала наличие выкрестов в семье. О том, что дед был выкрестом, утверждал, насколько мне помнится, его сын – мой отец. Кстати, о семье отца: его бабушка с материнской стороны родилась в Кронштадте, что опять-таки не вписывается ни в какие правила, поскольку Кронштадт являлся военно-морской базой и евреям там не было места. Впоследствии она держала фотомагазин на Невском (дом 66), и многие фотографии из этой книги обязаны ей своим появлением.

И еще: мои две тети, Елена и Виктория Александровны, выведены в сказке Корнея Ивановича Чуковского «Крокодил» в качестве детишек Лелёши и Тотоши, так что я могу гордиться тем, что являюсь племянником двух увековеченных теток. Кто прав – не знаю, но каким образом мог мой дед Александр Познер, еврей, учиться в Питере в престижном высшем учебном заведении (Институте инженеров путей сообщения), а потом состоять на царской службе – не понимаю. К сожалению, больше не у кого спрашивать: нет уже никого, кто мог бы пролить свет на эту историю, а пока они были живы, я не очень-то интересовался. Вот как странно! Пока наши родители и близкие рядом с нами, мы мало интересуемся их жизнью, их прошлым. Видимо, нам подсознательно кажется, что они навсегда останутся подле нас. Либо в своей гордыне мы уверены, что нам и так все известно, все доступно... А потом... А потом поздно, поздно, поздно.



Мой дед, Александр Познер, со старшей дочерью Еленой, она же моя будущая тетя Лёля

* * *

Словом, мой отец рос в типично русской интеллигентской среде, в которой терпимость, открытость взглядов и жаркие споры по всякому поводу были такой же частью ежедневного «меню», как и утренняя гречневая каша. Когда Февральская революция 1917 года привела к отставке царя, а за ней последовал ноябрьский большевистский переворот, Познеры, как и большинство русских интеллектуалов, этому горячо аплодировали.



Моя прапрабабушка со стороны отца Мария Перл



Елена Александровна Познер (тетя Лёля)



Моя бабушка Елизавета Перл



Мой дед, Александр Познер. Санкт-Петербург, 1905 г.



Мой папа в матроске, с двумя сестрами, Лёлей и Тото. Санкт-Петербург, 1916 г.



Моя прапрабабушка Мария Перл, с моим отцом и двумя тетями. Женщины в заднем ряду мне неизвестны. Санкт-Петербург



Мой дед Александр с матерью. Санкт-Петербург



Мои прапрадед Виктор Иванович Перл и прапрабабушка Мария Мироновна.

Мой отец и две его сестры учились в одной из лучших гимназий столицы – Тенешевской, не подпадая под пятипроцентную «еврейскую» квоту. Точно так же, как не подпал под нее их отец, мой дед, окончивший Институт инженеров путей сообщения, одно из самых престижных высших учебных заведений страны, куда евреям путь был заказан. Позже он был направлен лично Николаем II в США с двумя заданиями: закупать оружие для России и изучать мостостроительное дело. Почему-то мне кажется, что мои предки с отцовской стороны были рады освободиться от своего еврейства. Мой отец никогда не выказывал ни малейшей причастности к еврейскому миру. Он свободно изъяснялся на нескольких языках, но не знал идиша, не говоря об иврите. Ни он, ни его сестры не проявляли интереса к еврейской истории и культуре. Познеры были атеистами (полагаю, что выкрест-родоначальник был побуждаем в своем решении помыслами не религиозного толка), что, впрочем, совершенно не мешало им праздновать Пасху – с крашением яиц и поеданием куличей домашней выпечки, равно как и Пейсах – с поглощением рыбы-фиш и прочей сугубо еврейской снеди. Эта готовность отмечать религиозные праздники по форме, но не по содержанию представляется мне вполне типичной чертой русской интеллигенции. Советские люди с энтузиазмом празднуют Пасху и по григорианскому календарю, по которому живет почти весь мир, и по юлианскому, по которому живет Русская православная церковь, не говоря о еврейском Пейсахе, и подобного я не встречал больше нигде. То же относится и к Рождеству, которое празднуется и 25 декабря, и 7 января. Понятно, что в стране атеистической эти религиозные праздники не являются официальными, но большинство выпивающих и закусывающих по этим дням тоже не сильно верующие.

С другой стороны, Новый год считается в СССР государственным праздником и отмечается 31 декабря... что не мешает населению чествовать и старый Новый год 13 января.

* * *

С тех пор мало что изменилось в отношении готовности жителей России праздновать все что угодно, лишь бы выпить и закусить. Однако есть одно изменение весьма принципиальное: роль Русской православной церкви и место, которое ей отведено сегодня.

Еще во времена Бориса Николаевича Ельцина РПЦ стала занимать все более заметное положение, ее иерархи чаще появлялись на экранах телевизоров, глава государства и прочие высшие чиновники публично начали общаться с патриархом и чинами чуть пониже. РПЦ быстро приспособилась к новым временам, например к рыночным условиям – надо сказать, весьма диким – новой России. Она сумела добыть для себя привилегии, в частности, право торговать спиртными напитками и табачными изделиями, не платя за это налоги. Я не устаю поражаться аморальности церкви и церковников, шокирующим несоответствием между тем, что проповедуется, и тем, что делается (это относится не только к РПЦ). Горячие проповеди о вреде и греховности курения и потребления алкоголя никоим образом не воспрепятствовали бурной, чтобы не сказать лихой, торговле этим «грехом», которой активно добивались высшие иерархи РПЦ. По мне, лучше иметь дело с откровенным мерзавцем, ничего не проповедующим и ни во что не верующим, чем со святошей-лжепроповедником. По крайней мере, в первом случае знаешь, с кем имеешь дело.

Внезапное «прозрение» государственных чиновников всех разрядов, от самых высоких до вполне рядовых, их стремительное возвращение в лоно православия не просто удивляет, а вызывает чувство брезгливой неловкости. Все эти тогдашние «товарищи», которые размахивали красными партийными книжками и клялись положить жизнь на строительство коммунизма, в одночасье стали не просто господами, но еще и православными. Скорость и легкость этой метаморфозы уму непостижимы. Прав, конечно, был Наполеон, когда говорил,

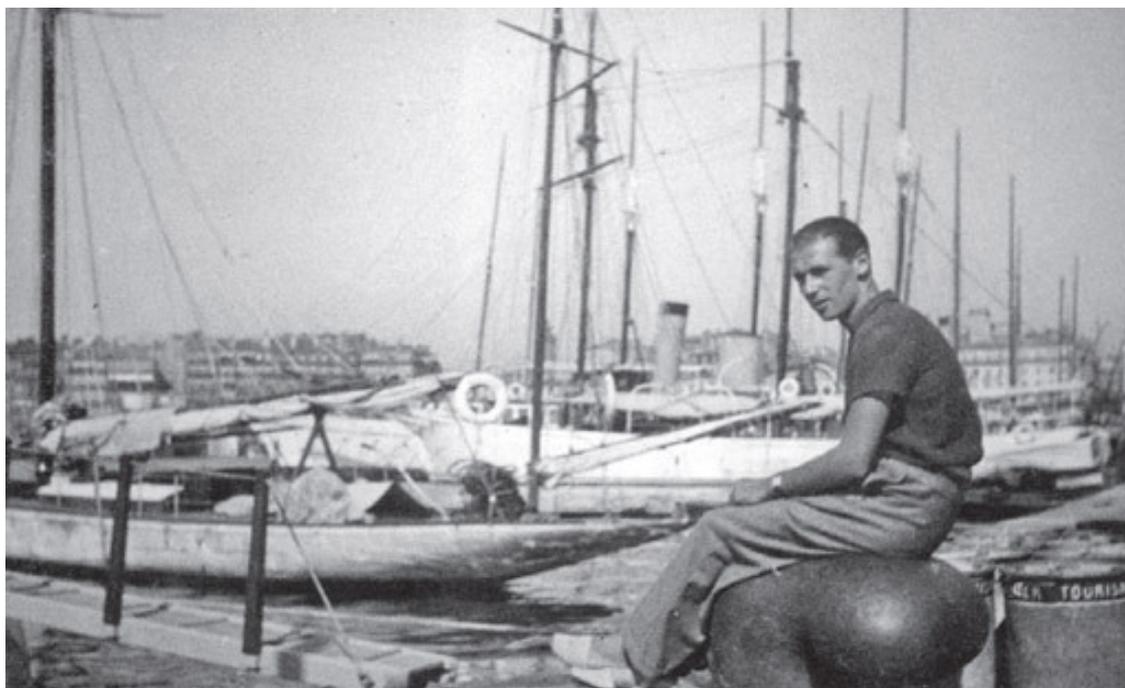
что от трагедии до фарса – один шаг: во главе РПЦ, облачившись в соответствующие патриарху одеяния, оказался человек, имевший тесные связи с КГБ. Ни для кого не секрет, что в советское время иерархи назначались в Совете по делам церкви и религии при Совете Министров СССР, на самом деле являвшемся одним из многих филиалов все того же КГБ.

Помнится, во время Великой Отечественной войны Сталин, по сути, вернул РПЦ к жизни, отменив гонения на нее и на верующих. Расчет был очевиден: церковь должна сыграть роль патриотического объединителя в борьбе со смертельно опасным врагом. Думаю, что и Ельцин, и в еще большей степени Путин увидели в РПЦ единственную силу, способную сплотить раздираемое противостояниями и противоречиями российское общество. Возможно, они правы.

Но повальное «эксгибиционистское» ношение крестов, заполнение телевизионного эфира религиозной тематикой и бородачьими проповедниками, почти насильное введение предмета «Православная культура» в государственных школах вызывает у меня отвращение.

Замечу: я к религии отношусь терпимо, понимая, что это есть некая система взглядов, некое мировоззрение. На христианскую же церковь смотрю с непримиримой враждебностью. Более всего она напоминает мне ЦК КПСС с генсеком (патриархом или папой), политбюро в виде митрополитов и кардиналов, ЦК и так далее.

Я писал эту книгу в конце восьмидесятых, когда еще горела надежда перестройки, и тогда РПЦ была тише воды, ниже травы. Но по мере убывания демократии – а она, с моей точки зрения, начала убывать вскоре после закрепления власти Ельцина, – РПЦ становилась все более заметной. В принципе нет в этом ничего удивительного: трудно найти менее демократический институт, чем церковь. Я даже позволю себе сказать так: дальнейший рост влияния РПЦ будет признаком все большего сокращения демократии в России, и напротив – ограничение влияния церкви станет свидетельством роста демократии. Что и говорить, не повезло России, когда князь Владимир сделал выбор в пользу православной ветви христианства: именно она более других темна, нетерпима, замкнута, именно она активнее других доказывает человеку, что он – ничто.



Папа. Марсель, 1930(?) г.



Папе 17 лет. Берлин, 1925 г.

Любопытный факт: если взять все европейские страны и распределить их по тем трем ветвям христианства, которые в них доминируют, то окажется, что наиболее высокий уровень жизни, наиболее развитые демократические институты встречаются в государствах, где церковь имеет наименьшее влияние, то есть в протестантских; за ними следуют страны католические, и на последнем месте – православные. Полагаете, это случайно?

В советские времена было опасно афишировать свою религиозную веру. Сегодня в «демократической» России атеизм не приветствуется. Высшие государственные чины, начиная с президента и премьер-министра, демонстративно крестятся и целуют патриарху руку на виду у всего народа. При новом патриархе – Кирилле – РПЦ еще более агрессивна в своем стремлении «рулить» процессом образования в России, стать истиной в последней инстанции по всем вопросам, касающимся СМИ, искусства, культуры, медицины, здорового образа жизни и, когда возможно, международных отношений. Она даже пытается быть законодателем мод, поучая, в частности, женщин, как и во что они должны одеваться.

* * *

Мой отец встречал революцию десятилетним. Он навсегда запомнил те пьянящие дни с их обещаниями братства, свободы и равенства, с блоковским Христом в венчике из белых роз во главе революционного марша, с моряками-балтийцами в черных бушлатах и клешах и с лихо надвинутыми на самые брови бескозырками, с пулеметными лентами крест-накрест через грудь; моряки шли, чеканя шаг, чтобы остановить угрожавшие красному Питеру силы белого генерала Юденича. Эти «картинки» и порожденные ими идеи серьезно повлияли на моего отца, на его формирование; уверен, что отроческие впечатления сохранились в его душе до конца жизни. Он не был сентиментальным человеком, напротив, всегда держал эмоции в узде, я лишь трижды видел его плачущим. В 1940 году, когда мы бежали из оккупированной Франции и он прощался, возможно, навсегда со своей любимой младшей сестрой; в 1968 году, когда он стал свидетелем уничтожения созданной им Экспериментальной творческой киностудии (ЭТК) – дела его жизни; и однажды, незадолго до его смерти, когда он рассказывал мне о своем детстве и о том далеком воспоминании – об отряде марширующих матросов революционного Балтфлота, певших песню с малопонятными для меня словами «наши жены – пушки заряжены».

Заметив, как слезы катятся по его щекам, я, испугавшись, спросил, что случилось, и отец ответил, что песня эта напомнила ему о детстве, о Петрограде восемнадцатого года, о русских мужиках, которые и в самом деле не знали ничего, кроме пушек, и лишь бесконечно воевали – то на фронтах Первой мировой, то на баррикадах революции, то на Гражданской войне; о мужиках, которым некогда было влюбляться, жениться, иметь детей; мужиках, которые пели эту песню с каким-то остервенелым юмором, смеясь над собой, пушкарями-ебарями, чьи дети-снаряды несут только смерть да разрушения; еще тогда, в восемнадцатом, песня эта пронзила его сердце – и рана так и не зажила.

В 1922 году семья Познеров эмигрировала из Советской России.



Знаменитая баскетбольная команда ВВCR. Папа – капитан – третий слева



Первая пятерка. Папа – с мячом



Весь клуб, со вторым и юношеским составами

К этому времени Гражданская война закончилась, было ясно, что большевики пришли надолго. Стало понятно и то, что революция не явилась воплощением всех ожиданий тех, кто изначально встретил ее восторженно – в том числе моего деда. Таким образом, Познеры, как сотни и сотни тысяч других, оказались частью того эмигрантского потока, который осел в Берлине. Проведя там три года, став свидетелем размолвки родителей и отъезда отца в Литовскую Республику, в Каунас, мой отец переехал с матерью и двумя сестрами в Париж.

Там он окончил русскую среднюю школу, после чего начал работать, чтобы помочь тяжело заболевшей матери и младшей сестре – Тото (старшая, Лёля, вскоре после приезда в Париж вышла замуж за американца и уехала в США). Его ближайшие друзья были, как и он, вынужденными беженцами из России, учившимися во французско-русском лицее, который был создан специально для детей русских иммигрантов. Дружбу эту скреплял спорт, точнее, сильнейшее увлечение – баскетбол.

Вместе с несколькими выпускниками школы, отчаянными любителями этой игры, отец основал команду ВВСР (Русский баскетбольный клуб). Участвуя в играх на первенство Франции, команда начала с самого низшего дивизиона и через несколько лет добралась до высшей лиги и до чемпионских титулов. Это была, скорее, не команда, а семья. Некоторые из игроков-основателей ВВСР не только живы по сей день, но и, несмотря на почтенный возраст – за восемьдесят, все еще собираются по воскресеньям, чтобы побросать в кольцо; процент попадания у них поразительно высок.

* * *

Сейчас уже нет никого. Живы их дети и внуки, но ни те, ни другие не играют в «баскет» и не говорят по-русски.

* * *

Благодаря близкому другу Вове Барашу, работавшему, как и моя мать, на «Парамаунте», отец получил работу в кино – правда, на «Парамаунте» не было свободных мест, и он устроился в филиале другой американской компании, MGM. Там отец познакомился с другим эмигрантом из России, Иосифом Давидовичем Гордоном, и очень с ним сдружился. Втроем (вместе с Барашем) они снимали квартиру, выпивали, ухаживали за девушками и вообще куролесили. В 1936 году Папашка, как прозвали Гордона, вернулся в Советский Союз. Отец встретился с ним вновь лишь спустя восемнадцать лет. Иосифу Давидовичу предстояло сыграть важнейшую роль в моей жизни...



Папа. Фото на паспорт, 1934 г.



Клер, старшая сестра Люттен Нибуайе. Она мало обращала на меня внимания. Но я обожал ее. Очевидно, за невероятную красоту

История Вовы Бараша достойна отдельного рассказа. Это был человек необыкновенно добрый и любвеобильный, с ярко выраженными данными комика. Вся округа умирала от смеха, когда он, прижав верхней губой короткую черную расческу к носу, выходил на балкончик своей квартиры и, размахивая руками, пародировал Гитлера. Бараш был доверчивым и наивным – только этим можно объяснить то, что когда в оккупированном Париже гестапо издало приказ, обязывающий всех евреев явиться для регистрации, он явился. И когда было приказано надеть нарукавник со звездой Давида, он надел его. Друзья-французы не уставали поражаться ему: «Неужели ты не понимаешь, немцы не могут жить без *Ordnung*¹, для них слово *verboten*² почитаемо, правила – священны. Если ты не играешь по правилам, они беспомощны, но если принимаешь их, тебе конец».

Бараш не верил. Однажды утром к нему домой явились двое французских жандармов. Они информировали его о том, что придут забирать его во второй половине дня. «Приготовьтесь, месье», – сказали они, многозначительно глядя ему в глаза. И ушли. Бараш все понял, но все-таки отказывался верить, что речь идет о чем-то действительно серьезном, и поэтому решил спрятаться в собственном садике позади дома. К вечеру вновь явились оба жандарма, но на это раз в сопровождении немецких солдат. Они обыскали дом. Не найдя там никого, решили заглянуть в сад, где и обнаружили Бараша, пригнувшегося за кустом сирени. Они увели его.

¹ Ordnung – порядок (нем.).

² Verboten – запрещенный (нем.)

На следующий день один из жандармов вернулся, чтобы сказать жене Бараша буквально следующее: «Мы рисковали жизнью ради твоего мудака. Если все жида такие же кретины, как он, значит, они получают по заслугам».

Эту историю мне рассказал много лет спустя отец. Она запомнилась мне навсегда.



Мама. Фото на паспорт. 1934 г.

* * *

Вова Бараш погиб в газовой камере. Вроде бы в Аушвице... Написал – и задумался: почему не упомянул об этом прежде? Может быть, то, как и где закончил свою жизнь Бараш, тогда не казалось мне столь уж важным фактом, во всяком случае, в сравнении с историей его ареста. А теперь кажется.



Тото с мамой

* * *

Отец и мать познакомились в 1930 или 1931 году благодаря общей профессии, тогда еще находившейся на ранней стадии развития и потому малочисленной: так или иначе, все были друг с другом знакомы. Я родился в Париже в 1934 году и был крещен в католической вере Владимиром Жеральдом Дмитрием Познером – в честь своего отца Владимира, матери Жеральдины и ближайшего друга отца по баскетбольным баталиям Дмитрия Волкова, согласившегося быть моим крестным. Родился я первого апреля, в день рождения матери. Было ли это предзнаменованием особого чувства, которым мы были связаны в течение всей ее жизни, или нет – не знаю. Но то, что первые пять лет своего существования я провел без отца, конечно, оставило след на моем становлении. Как потом рассказывала мама, отец не был в восторге от перспективы моего появления, он явно еще «не догулял». Мама, женщина тихая, но необыкновенно сильная и гордая, взяла меня, тогда трехмесячного, и уплыла в США, где жили ее мать и младшая сестра Жаклин. Так я прибыл в Нью-Йорк. Странно ли, что мои первые воспоминания связаны с Америкой?



Мама. Нью-Йорк, 1936 г.



Папа. Париж, 1936 г.

* * *

Почему-то не написал, что в день моего рождения, в воскресенье первого апреля 1934 года, совпали все три Пасхи: католическая, православная и еврейская. Знак?

* * *

Мама мало запечатлелась в моей еще совсем детской памяти. Возможно потому, что я редко видел ее. Она зарабатывала на жизнь не только для нас двоих, но и для своей больной матери, смерть которой от рака была не за горами. Одну сцену, словно выжженную клеймом, мне никогда не забыть: закрываю глаза и вижу ее четче и ярче, чем на любом киноэкране. Мальчик трех или четырех лет вбегает в комнату. Время скорее всего вечернее, потому что в комнате темно, если не считать зажженного торшера около кровати, на которой полулежит подпертая подушками женщина. Она, склонив голову, читает, но когда вбегает мальчик, под-

нимает голову и улыбается ему. У нее тонкие, благородные черты лица. Страдальческие морщины не могут скрыть былой красоты, более того, странным образом ее подчеркивают. Мальчик бежит к ней, он счастлив от сознания того, что ею любим, и переполнен нежностью и любовью к ней. Он бросается на постель и замирает в ужасе от дикого крика боли и от понимания, что всем телом налег на ее больную ногу. Его часто предупреждали, чтобы был осторожен, но тут в пылу радости он все забыл. Мальчик – это я, и таково единственное воспоминание, оставшееся у меня о любимой бабушке.

Что касается других воспоминаний того времени, то они обрывочны, словно разрозненные фотографии из альбома без начала и конца. Помню свою няню Эйджус; она часами не давала мне встать из-за стола, пока не съем рыбное пюре, которое я ел отказываясь из-за ненавистных костей. По сей день любое рыбное блюдо вызывает во мне прежде всего чувство протеста, а затем, при наличии в нем мелких костей, отвращение. Помню я и Мэри, дочь Эйджус, которая однажды наградила меня поцелуем и конфеткой за то, что я все-таки проглотил последнюю ложку рыбного пюре и заодно, что гораздо хуже, чувство собственного достоинства.

Словно из легкого тумана выплывают контуры квартиры, где мы жили вместе с маминими друзьями – четой Уиндрои и двумя их дочерьми, Мидж и Пэт. Стеллан Уиндрои, отец семейства, запомнился мне, видимо, по совокупности причин. Он был громадного роста, разговаривал громовым голосом и обожал рассказывать анекдоты, над которыми больше всего смеялся сам. Мне было смешно только однажды, когда от хохота у Стеллана выпала вставная челюсть. У меня случилась истерика, закончившаяся тем, что Стеллан стеганул по моему заду парой подтяжек.

* * *

Уже работая в Америке, после выхода книжки, я разыскал Мидж, которую, в отличие от остальных членов ее семьи, любил. За что – не знаю. Может быть, за красоту и за то, как шикарно она плавала. Но скорее всего за то, что она никогда не шугала меня (как ее сестра), не орала (что часто делала ее мама Марджори) и не пугала (как Стеллан). Мидж приняла меня будто родного, словно не минуло почти сорок лет. Мы окунулись в воспоминания, и вдруг она сказала:

– Знаешь, мой отец писал доносы на твоего.

– ?

– Да, отец был иммигрантом из Швеции, он боготворил Америку и когда узнал, что твой папа симпатизирует русским, стал стучать на него...

Не зря я недолюбливал Стеллана.

* * *

Лучше всех я помню своего друга Стива Шнайдера, жившего этажом выше. Его спальня располагалась непосредственно над моей, и больше всего на свете нам нравилось перед сном переговариваться по воздуховоду, соединявшему все комнаты этой стороны здания. Как бы долго мы ни перешептывались, разговор всегда заканчивался одним и тем же ритуалом. Обычно начинал я: «Спокойной ночи, Стив». «Спокойной ночи, Вова», – отвечал он. И этот обмен пожеланиями продолжался долго-долго, плывя вверх-вниз по воздуховоду, пока кто-то из нас не заснул. Каждый, понятно, стремился сказать «спокойной ночи» последним, хотя диалог иногда грубо прерывался появлением какого-нибудь взрослого, чаще всего Стеллана, требовавшего, чтобы мы немедленно умолкли.

Только ранний приход домой мамы способен был заставить меня забыть о переговорном процессе, поскольку перед сном она читала мне разные книжки. Мне было года четыре, когда мама познакомила меня с «Приключениями Тома Сойера». Я и сегодня помню, с каким восторгом представлял себе тетю Полли, которая в поисках Тома глядит поверх очков и из-под очков, но никогда не удостаивает простого мальчишку взглядом *сквозь* очки. Не менее этой сцены я обожал другую – о коте Питере и болеутолителе и просил маму раз за разом перечитывать ее. Слушая, я помирал со смеху; Стив, прильнув ухом к решетке воздуховода, хохотал не слабее меня. У меня все еще хранится этот том – «Избранные сочинения Марка Твена», изданный в 1936 году компанией Garden City Publishing, Inc.



Мой друг Стивен Шнайдер и я. Нам по 8 лет. Штат Нью-Гемпшир

* * *

Когда я писал эту книжку, не было еще социальных сетей, в которых ныне молодежь проводит полжизни; по существу, не было и Интернета, никаких блогов, чатов и прочих прелестей, приведших к тому (и это проверено), что люди, в особенности молодые, перестали читать. «А как же электронные книги?» – возразят мне. Убедительных аргументов против них не приведу. Скажу только, что есть неувловимая разница между чтением электронной книжки и реальной, от страниц которой исходит слабый запах типографской краски, от прикосновения к бумаге которой рождается какое-то особое чувство близости... Книгу хочется подержать, погладить, понюхать, она будит наши тактильные чувства.

Скажите, дорогой читатель, вам мама и папа читали на ночь книжки? Нет? Мне жаль вас. Никакое телевидение, никакой Интернет, никакие компьютерные игры не восполнят этого пробела. Знаете почему? Да потому, что они лишают вас воображения. Они не дадут вам возможности сочинить «своего» д'Артаньяна, Тома Сойера или Конька-Горбунка, они покажут их вам во всех деталях, раз и навсегда покончив с вашими придумками. В итоге они отучат вас не только читать, но и писать, они лишат вас ощущения красоты языка,

представления о стиле и знаках препинания. Знаете, когда мне читали на ночь в последний раз? Когда я болел ангиной в восемнадцать лет, и папа читал мне «Тараса Бульбу».



Мама. Нью-Йорк. 1946 г.

* * *

Летом мама отправляла меня на дачу с семейством Шнайдеров, сама же продолжала работать монтажером в Paramount. Из памяти почти стерлось загородное житье, если не считать одной драки, во время которой я получил по голове граблями (дырка была вполне внушительная), но я прекрасно помню, с каким нетерпением ждал уик-энда и приезда мамы. Суббота и воскресенье – вот чем я жил.

Моя мать была необыкновенно хорошенькой женщиной. Она не испытывала недостатка в поклонниках, но относилась к редкой породе однолюбов. Насколько мне известно, у нее никогда не было ни романа на стороне, ни даже желания завести его. Она любила моего отца, и на этом вопрос был закрыт. Поэтому она и ждала его все пять лет жизни в Америке. По правде говоря, мне кажется, что она готова была бы ждать и двадцать пять лет. Тем временем отец, человек совершенно иного склада, вдоволь нагулявшись, пришел, по-видимому, к выводу, что никогда не полюбит другую женщину так, как любил мою мать (что, разумеется, вовсе не исключало возможности быстротечных увлечений и романов), и приехал за ней.

* * *

Впоследствии тетя Тото рассказала мне, что отец приехал за нами потому лишь, что об этом его просила незадолго до своей смерти мать, и он пообещал ей.

Не помню, писал ли я об этом прежде, но я рос практически без родственников, хотя их было немало. У матери имелись старший брат Эрик, две старшие сестры Клер и Кристиан и младшая сестра Жаклин.

Эрика я видел один раз в жизни, когда он приехал в НьюЙорк, чтобы навестить свою маму, и зашел к нам. Мне было три или четыре года, я болел коклюшем, жутко кашлял, и во время одного приступа меня вырвало – прямо на стоявшего у моей кровати Эрика. За что получил от него пощечину. Этим и ограничились мои с ним отношения. Я знаю, что он много работал в экваториальной Африке; полагаю, представлял там интересы какой-нибудь французской компании, был колонизатором, имел множество связей с местными женщинами, в результате чего родилось большое число детей – видимо, где-то там, в одной из бывших колоний, у меня есть немало чернокожих родственников. Понятия не имею, чем занимался он во время войны, уже после нее он женился и стал отцом двух вполне законнорожденных девочек. Когда Эрик умер, я получил письмо от его вдовы: речь шла о разделе его имущества, к которому, по ее мнению, я должен был иметь отношение в соответствии с принятым во Франции «правом крови». Я от этого права отказался.



Мой дядя Эрик в колониальной Африке. 1932(?) г.



Он же, 1941 г.

Клер я помню очень смутно, знаю определенно, что любил ее, а за что – ума не приложу. Может быть, за небывалую красоту. Клер жгла свечу жизни с обоих концов сразу – мужчины, алкоголь, кокаин – и умерла, когда ей еще не было сорока лет.

Кристиан не пользовалась у меня никаким авторитетом. Она жила в нашем доме в Нью-Йорке со своей дочерью Андрэ (отец которой сбежал еще до ее рождения), где-то работала секретаршей, вечно боялась чего-то и дрожала над Андрэ, умело этим пользовавшейся.

Помню такой случай. Мне двенадцать лет. Мама с папой уехали во Францию. Вместо них у нас живут их приятели супруги ДиГанджи, которые присматривают за мной. Я сижу на кухне и играю ножичком. Недалеко от меня сидит Андрэ – ей лет пять. Кристиан просит меня не играть ножом около Андрэ. Я не обращаю никакого внимания. Кристиан продолжает просить. Я продолжаю играть. Выведенная из себя Кристиан дает мне пощечину. Я вскакиваю и, не соображая, что делаю, со всего маху ударяю ее под дых. Кристиан складывается пополам и стонет. Я смотрю в ужасе на то, что сотворил, и убегаю из дома к семейству МакГи, жившему на соседней улице – их дети, Стив и Пит, учились со мной в одной школе. Утопая в соплях и слезах, я рассказываю их маме о своем преступлении... В общем, все уладилось, но хоть и прошло с тех пор больше шестидесяти лет, я до сих пор испытываю чувство липкого стыда, вспоминая об этом.

После войны, году в сорок шестом или сорок седьмом, Кристиан уехала во Францию и вскоре стала личным секретарем хозяина знаменитой коньячной фирмы «Hennessy». Она про-

работала в этом качестве больше сорока лет. Не так давно я встретился с господином Энси (так произносится эта фамилия по-французски) и сказал ему, что моя тетья была секретарем его отца.

– Как! – поразился он, – вы племянник мадам Конти? Это была великая женщина, легендарная...

Каким образом моя тихая, скромная, сверхаккуратная и внешне ничем не примечательная тетья Кристиан стала «великой» и «легендарной», я не понимаю, но факт остается фактом.

Кристиан умерла в возрасте девяноста шести лет.



Мамина младшая сестра Жаклин. 1937 г.



Мне 4 года. Нью-Йорк

Мамина младшая сестра Жаклин уехала из Франции в Америку совсем молодой – ей не было и двадцати трех. Там она вышла замуж за некоего Флауэра Бийла, звукоинженера компании CBS. Они купили домик в городе Александрия, штат Вирджиния, где и прожили всю свою долгую жизнь. Жаклин родила четырех сыновей, стала стопроцентной американской домохозяйкой, чуть подзабыла родной французский и никогда больше не ездила во Францию (не говоря о других странах). Почему? Быть может, это связано с какой-то семейной тайной, с чем-то таким, что случилось с ней в период жизни во Франции? Не знаю. Но знаю точно, что в семье хранилась некая тайна, которую приоткрыла для меня незадолго до своей смерти (и намного позже выхода в свет этой книги) Кристиан.

Присмотритесь к фотографиям. Клер похожа на свою мать. Эрик и Кристиан очень похожи друг на друга (оба блондины с вьющимися волосами, голубоглазые), и Жеральдин похожа с Жаклин – обе русые с карими глазами. Жаклин, младшая из всех, носила фамилию последнего мужа моей бабушки – Дюбуа, фамилию столь же французскую, сколь фамилия Кузнецов русская. Эрик, Клер, Кристиан и моя мама носили фамилию первого мужа бабушки – Люттен. Сей господин был настоящим денди с вьющимися золотистыми волосами и голубыми, как небеса, глазами. Но как сказала мне Кристиан, он был не французом, а немцем, точнее, немецким евреем по фамилии Леви, родители которого переехали во Францию и одновременно со сменой места жительства поменяли еврейскую фамилию на придуманную, но звучащую на французский лад, – Люттен. Итак, Клер походила на свою маму, Эрик и Кристиан – на отца по фамилии Люттен, моя мама и Жаклин были очень похожи друг на друга, но носили разные фамилии, поскольку родились от разных отцов. А если нет? Допустим, что моя бабушка забеременела четвертым ребенком (моей мамой) вовсе не от господина Люттена, а от господина Дюбуа, за которого вышла замуж лишь после рождения Жеральдин? Не надо забывать о том, что речь идет о начале XX века и о нравах в весьма буржуазно-аристократической семье, где беременеть и рожать ребенка не от законного мужа – предельно скандально.



Мама, Кристиан, Эрик и Клер. 1910 г.

Если верить Кристиан – а не верить ей у меня нет ни малейшего повода, – тайна получается двойная: в добропорядочную французскую семью проник еврей (вряд ли есть необходимость напоминать об уровне антисемитизма во Франции – и не только в начале прошлого века), да еще родился ребенок от внебрачной связи – моя мама. Вспомним при этом, что и я, ее сын, тоже рожден вне брака, и останется лишь подивиться причудливости жизни.



*На скамейке справа налево: мама, Жаклин, Кристиан. Стоят: Клер и Эжени Нибуйе.
1915 г.*

* * *

Мы отплыли во Францию на «Нормандии», в то время самом роскошном океанском лайнере в мире. Стив и его родители, Нина и Саул, пришли нас проводить. Они стояли на дебаркадере и махали платками нам вслед, пока мы в сопровождении целой флотилии буксиров выплывали из нью-йоркской гавани. Шла весна 1939 года.

Первого сентября Германия вторглась в Польшу. Двумя днями позже Франция и Великобритания объявили войну Германии. Началась Вторая мировая.

Воспоминаний о войне как таковой у меня почти не сохранилось. Скорее всего, это объясняется тем, что военных действий в самой Франции по сути и не было. За первые полгода ни одна из сторон не потеряла ни одного человека на всем германо-французском фронте, если не считать британского солдата, который случайно застрелился, когда чистил свою винтовку. Немцы называли эту войну *Sitzkrieg*³, французы – *la drole de guerre*⁴, англичане же со своей прямоотой обозвали ее *the phoney war*⁵.



Я с мамой возвращаюсь во Францию на лайнере «Нормандия». 1939 г.

* * *

Как впоследствии признавал начальник Генерального штаба вермахта Гальдер – и это же подтвердил маршал Кейтель, – немцы пошли на точно рассчитанный военный риск, когда вторглись в Польшу. У Франции на германской границе было значительное превосходство в

³ Sitzkrieg – «сидячая» война (нем.).

⁴ La drole de guerre – смешная война (фр.).

⁵ The phoney war – странная война (англ.).

военной силе. Напади она сразу да со всей мощью, немцы вряд ли удержали бы Рурский бассейн – свою промышленную сердцевину, а без него нечего было и надеяться на военные успехи. Гитлер уже тогда потерпел бы поражение. Но объективности ради следует сказать, что и Гальдер, и Кейтель ошибались, когда говорили о *военном* риске. Риск был сугубо политическим и строился на точном расчете Гитлера: пока острие его удара будет направлено на Восток, Запад мало что предпримет – а скорее всего не предпримет ничего. Завершив Польскую кампанию и хорошенько подготовившись к следующей, Гитлер напал на Францию в мае 1940 года. К июню все было кончено.

* * *



Мама, папа и я на «Нормандии». 1939 г.

Как я уже говорил, я плохо помню войну. Более того, мне кажется, я даже не заметил отсутствия отца, к которому еще не успел привыкнуть. Он записался добровольцем во французскую армию, хотя мог и не делать этого, поскольку не был – и не хотел быть – гражданином Франции. Под влиянием множества факторов, в том числе ярких детских воспоминаний о революционном Петрограде, отец стал убежденным коммунистом, преданным сторонником Советского Союза. И не являясь членом компартии (причем до конца своих дней), он, несомненно, был «красным», верным последователем Маркса.

У отца был так называемый нансеновский паспорт – документ, который изобрел знаменитый норвежский полярный исследователь, ученый, государственный деятель и гуманист Фритьоф Нансен, получивший Нобелевскую премию мира 1922 года за помощь голодающей

России и за участие в репатриации военнопленных. Созданный им документ должен был легализовать положение перемещенных лиц, приравнять их в правах к гражданам тех стран, в которых они оказывались. Документ этот, принятый Лигой Наций, признавался всеми цивилизованными государствами, за исключением, разумеется, нацистской Германии. С точки зрения немцев мой отец был отличным кандидатом для газовой камеры. Прежде всего он являлся евреем, и всякие рассуждения о том, что его предки – выкrestы, с точки зрения нацистских идеологов не имели ни малейшего значения: ведь еврейство – это нечто генетическое, определенное состояние мозгов, несменяемое и несмываемое, как, например, черный цвет кожи у негров. Во-вторых, он был не просто евреем, а красным евреем, и нет смысла говорить о наличии или отсутствии членского билета. Главное – он коммунист *в душе*, а что может быть хуже? И наконец в-третьих, он – сторонник большевистской России, более того, не скрывает своих намерений вернуться туда, как только это станет возможным. К тому же сразу после демобилизации мой отец вступил в движение Сопротивления. Он торговал пирожками с мясом в немецких гарнизонах под Парижем, где благодаря отличному знанию языка подслушивал разговоры немецких солдат и офицеров и собирал таким образом сведения о количестве и качестве военных соединений, о возможных их передвижениях и т.д.

Однажды во время такой торговли пошел дождь. Схватив свой лоток с пирожками, отец встал под навесом. Вдруг рядом с ним оказался офицер в черной форме – член СС.

– Was machts du here?⁶ – грозно спросил он.

– Nicht verstein⁷, – ответил отец.

– Raus!⁸ – приказал эсэсовец, и отец ушел чуть ли не бегом.

Прошло несколько лет. Году в сорок седьмом отец летел из Нью-Йорка в Лондон. Рядом с ним сидел до боли знакомый человек, но кто он – отец не мог вспомнить. Тот посматривал на него с полуулыбкой, потом вдруг спросил:

– Ну что, все еще торгуете пирожками?

Это был тот эсэсовский офицер, на самом деле оказавшийся английским разведчиком. Выяснив, что мой отец – советский гражданин, он сказал:

– Знаете, нет ни одного народа в мире, который способен преодолевать трудности так, как это делаете вы, русские. Но к счастью для нас, нет ни одного народа в мире, который так умеет устраивать трудности самому себе.

Прав был английский разведчик, прав.

* * *

В последние годы я много думаю о том, каков он, русский народ. От многих я слышал, будто русские имеют немало общего с американцами – что совершенно не так. Да и откуда у них может быть что-то общее, когда их исторический опыт столь различен? Назовите мне хоть один европейский народ, который в большинстве своем оставался в рабстве до второй половины девятнадцатого века. Покажите мне народ, который почти три века находился под гнетом гораздо более отсталого завоевателя. Если уж сравнивать, то, пожалуй, наиболее похожи друг на друга русские и ирландцы – и по настроению, и по любви к алкоголю и дракам, и по литературному таланту. Но есть принципиальное различие: ирландцы любят себя, вы никогда не услышите от них высказывания вроде «как хорошо, что здесь почти нет ирландцев!».

⁶ Was machts du here? – Что ты тут делаешь? (нем.)

⁷ Nicht verstein – Не понимаю (нем.)

⁸ Raus! – Пошел вон! (нем.)

Два или три года тому назад мне повезло попасть на выставку «Святая Русь». Оставляю в стороне само название, которое могло бы послужить поводом для довольно горячей дискуссии. Поразили меня новгородские иконы, писанные до татарского нашествия: я вдруг отчетливо понял, что они, эти иконы, эта живопись ни в чем не уступают великому Джотто, что Россия тогда была «беременна» Возрождением, но роды прервали татаро-монголы. Кто-нибудь попытался представить себе, какой была бы Россия, не случись этого нашествия и двухсот пятидесяти лет ига? Если бы Русь, развивавшаяся в ногу с Европой, выдававшая своих княжон замуж за французских королей, не была отрезана на три долгих века от европейской цивилизации?

Что было бы, если бы Москва Ивана III проиграла новгородскому вече? Что было бы, если бы Русь приняла не православие, а католицизм? Что было бы, если бы русское государство не заковало собственный народ в кандалы крепостничества? Что было бы, если бы всего лишь через пятьдесят с небольшим лет после отмены крепостного рабства не установилось рабство советское? Много вопросов, на которые нет ответов, а есть лишь мало чего стоящие догадки... Я отдаю себе отчет в том, что не принадлежу русскому народу. Да, временами я мечтал о дне, когда смогу с гордостью сказать: «Я – русский!» Это было в Америке, когда Красная Армия громила Гитлера, это было потом, когда мы приехали в Берлин, это было, когда я получил настоящий советский паспорт, при заполнении которого мне следовало указать национальность – по маме (француз) или по папе (русский), и я, ни секунды не сомневаясь, выбрал «русский», это было и тогда, когда исполнилось мое заветное желание и мы наконец-то приехали в Москву. Но постепенно, с годами, я стал понимать, что заблуждался. И дело не в том, что многие и многие намекали – мол, с фамилией Познер русским быть нельзя, и это было крайне неприятно, даже унижительно. Просто я ощущал, что по сути своей я – не русский. А что это значит конкретно? Ответить почти невозможно, потому что почти невозможно дать точное определение «русскости». В одной из моих телепередач Никита Михалков сказал, что русским может быть только тот, у кого чего-то нет, но нет не так, чтобы оно обязательно было, а так, что и хрен с ним. Допускаю... Но этот характер, склонный к взлетам восторга и депрессивным падениям, эта сентиментальность в сочетании с жестокостью, это терпение, граничащее с безразличием, это поразительное стремление разрушать и созидать в масштабах совершенно немыслимых, это желание поразить и обрадовать всех криком «угощаю!» – при том, что не останется ни рубля на завтра и не на что будет купить хлеб для собственной семьи, эта звероватость вместе с нежностью, эта любовь гулять, будто в последний раз в жизни, но и жить столь скучно и серо, словно жизнь не закончится никогда, эта покорность судьбе и бесшабашность перед обстоятельствами, это чиновничество и одновременно высокомерие по отношению к низжестоящим, этот комплекс неполноценности и убежденность в своем превосходстве, – все это не мое. Когда я еще был мальчиком, тетя Лёля читала мне переведенные на английский русские сказки, и я не мог понять, как герой не то что тридцать лет, а вообще мог сидеть на печке, да потом еще одним махом семерых побивахом, как могло быть так, что Иван-дурак – всех умней, почему достаточно поймать золотую рыбку, чтобы исполнились три любых желания, но они не исполнились никогда, ибо жадность фраера сгубила...

Нет, при всей моей любви к Пушкину и Гоголю, при всем моем восхищении Достоевским и Толстым, при том, что Ахматова, Цветаева, Блок и Булгаков давно стали частью моей жизни, я осознаю: я – не русский.

* * *

Дело это было опасное, особенно для человека с биографией моего отца. По мере того как гестаповская машина тщательно собирала и анализировала обрывки сведений о нем и его деятельности, стало очевидным, что надо бежать в так называемую Свободную зону Франции.

Понятно, что обо всем этом я узнал через много лет, какие-то вещи я додумываю, исходя из разных рассказов. Но помимо и значительно раньше этого был процесс познания, было множество разных мелких случаев – каждый по отдельности не означал ничего, но в сумме они складывались в некую картину, которая способствовала моему развитию и пониманию происходившего.

Вот мы весело шагаем по Елисейским Полям – моя мама и двое немецких офицеров-красавцев. Высоченные, с «арийскими» лицами, отмеченными шрамами студенческих сабельных дуэлей, они держат меня за руки и раскачивают вверх-вниз, все выше и выше. Я пишу от удовольствия, мама смеется. Значит, *les boches*⁹ не такие уж плохие, верно?



С папой в Париже. 1939 г.

⁹ Les boches – немцы, фрицы (фр.).

Прошло несколько дней. Я вышел из школы после уроков. Стоявший на часах немецкий солдат, следивший за тем, чтобы излишне патриотично настроенные старшеклассники лица не нарушали порядок, потрел меня по голове и подарил мешочек со стеклянными шариками. Придя домой, мама застала меня катающим их по ковру.

– Откуда шарики? – спросила она.

– Мне их подарил немецкий солдат, – ответил я.

И тогда мама, нежнейшая из всех женщин на свете, в первый и в последний раз в жизни дала мне пощечину.

– Ты не смеешь принимать подарки от немцев, – сказала она.

А раскачиваться у них на руках посреди Парижа?

Вот мы с мамой едем в метро в вагоне второго класса (вагоны первого класса – только для представителей высшей, арийской расы). Впрочем, рядом с нами сидит немецкий офицер (видимо, ариец-демократ). На следующей остановке в вагон входит женщина. Она явно на сносях. Офицер встает и предлагает ей сесть. Она его не замечает. «Прошу вас, садитесь», – говорит он. Женщина смотрит сквозь него, будто его нет. «Прошу вас, мадам», – повторяет он с мольбой в голосе. Она продолжает не замечать его. На следующей остановке офицер выскакивает из вагона, бормоча под нос какие-то ругательства. Общий вздох удовлетворения звучит громче, чем хор триумфальных возгласов, и мама смотрит на меня сияющими глазами.



Мама в Биаррице окружена вниманием. 1940 г.

Лето 1940 года. Меня родители отправили в Биарриц, город на Бискайском заливе. Там живет Маргерит, друг семьи. Для всех она Маргерит, а для меня – моя обожаемая Гигит. Окна ее квартиры смотрят на больницу, в которой лечатся и выздоравливают немецкие военные. Однажды я увидел, как несколько солдат гоняют мяч. Я тут же забрался на подоконник, прильнул к окну и стал громко болеть. Вдруг мое ухо было схвачено железными тисками, и совершенно чужая, сумрачная Гигит буквально сдернула меня с подоконника, закрыла ставни и в наказание за то, что я смотрел на немецких солдат, лишила жареной курицы и зеленого салата – самых любимых моих блюд. Я был отправлен спать без ужина. В пять часов утра или около того Гигит грубо растолкала меня и велела одеваться. На улице было промозгло. Держа меня крепко за руку, она направилась в сторону набережной. Когда мы пришли, мне показалось, что там собрался весь город – сотни людей стояли в гробовом молчании. Они чего-то ждали,

всматриваясь в темные воды залива. Я прижимался к Гигит, ожидая неизвестно чего, но зная, что *оно* обязательно появится. Потом толпа зашевелилась, задышала, все головы повернулись в одну сторону, и оно появилось-таки, оно принеслось тем самым коварным течением, об опасности которого знали все жители, о котором всегда предупреждали желающих купаться, в том числе и немцев – но разве представители высшей расы боятся какого-то жалкого течения? Проплыл труп первого утопленника, потом второго, третьего... Всего в этой зловещей тишине их пронеслось пятеро. Не сказав ни слова, Гигит развернула меня и зашагала домой, где налила кружку горячего шоколада и сказала:

– Вот на таких немцев ты можешь смотреть.

Уроки эти я усвоил.

* * *

В 1979 году, после двадцати семи лет пребывания в рядах тех, кого в СССР называли «невыездными», я оказался в парижской квартире тети Тото и увидел на стене необыкновенной красоты портрет совсем молодой Гигит – портрет работы художника Анненского. Тогда, в двадцатые годы, Маргерит работала манекеницей. Она была необыкновенно хороша собой. Почему-то мне кажется, что Анненков был ее любовником – у меня нет никаких данных на сей счет, кроме самой картины: только влюбленный человек мог написать ее, только влюбленная женщина могла так смотреть на своего живописца.

Потом, когда изменился строй и поездка за границу стала делом нормальным, я много-много раз бывал у Тото – и всегда подолгу смотрел на портрет моей Гигит. Тото завещала его мне, и теперь он висит у меня дома, я вижу Гигит каждый день и каждый день молча с ней здороваюсь, ощущая прилив нежной радости.

* * *



Мне 6 лет, маме – 30. Марсель, 1940 г.



Девочка, с которой я дружил в Марселе. Мы уехали в Америку, а она осталась... И погибла во время бомбардировки. 1940 г.

К осени 1940 года мы оказались в Марселе. В то время Франция еще была разделена на две зоны. Одну занимали немцы, другая, так называемая «Свободная», управлялась профашистским правительством Петена-Лавалья. Для переезда из одной зоны в другую требовалось разрешение немецких властей, к которым, понятно, мой отец не мог обращаться. В отличие от Бараша, он понимал: его безопасность зависит от умения не стать учтенной частичкой немецкого аппарата слежения; ускользнуть от этого чрезвычайно тяжеловесного тевтонского механизма было не так уж сложно, но, попав в него однажды, человек в итоге неминуемо погибал.

Папа переехал в Свободную зону по подложному документу (чего я тогда, конечно, не знал). Много лет спустя он показал его мне – работа была грубоватая, явно любительская, но в те первые месяцы оккупации немцы были настроены довольно благодушно. В Марселе мы остановились в пансионате «Мимоза», третьеразрядной гостинице, принадлежавшей родителям Вовы Бараша. Когда я вспоминаю эти времена, до меня доносится голос мамыши Бараш (ее обычно называли «мадам Рита») – голос громкий, требовательный, созывающий всех на обед, главным блюдом которого не редко становились улитки в чесночном соусе. Еще одним главным «блюдом» был обычай дразнить *le petit Vova* (то есть меня), обещавшего молчать весь обед. Условия были простые: если я не пророню ни слова, мне купят любую игрушку, которую я захочу. Если же проиграю, то буду получать улитки на обед семь дней подряд. Понятно, что как бы меня ни доводили, я молчал. Победив однажды, я потребовал в подарок (и получил) замечательную лодку на батарейке. Я пускал ее в ванне в пансионате вместе с Мари, девочкой

моего возраста, которую очень любил. Когда мы уезжали из Марсея, я подарил ей эту лодку. Вскоре после нашего отъезда Мари погибла в союзнической бомбардировке.

Отъезд наш был делом не простым. Не для меня и мамы – ее паспорт был в полном порядке, требовалась лишь печать оккупационных властей. А вот отец нуждался в специальном пропуске, и на сей раз никакая подделка не годилась. К счастью, гестаповцы брали взятки, так что вся проблема сводилась к одному: где найти деньги? Их предложила отцу богатая еврейская семья – при условии, что с нами уедет их взрослая дочь. Родители сообщили мне, что мы едем с моей «няней». Я никогда прежде не видел этого человека, не имел о нем ни малейшего представления, я был всего лишь шестилетним мальчиком, которому сказали явную ложь. Но я совершенно точно помню, что меня это никак не смущало: хоть это и не моя няня, она должна считаться таковой, кто бы ни спросил. Мне было понятно, кто именно может спросить и что случится с «няней», если этот кто-то узнает правду.

В зависимости от обстоятельств и окружения ребенок способен мгновенно повзрослеть. Мне никто не рассказывал о том, что немцы убивают евреев. Но я это *знал*...

Мы получили деньги и потом документы. На поезде пересекли франко-испанскую границу, провели несколько дней в Барселоне и Мадриде, затем поехали в Лиссабон, сели на корабль «Сибонэ» и поплыли в Америку. Путешествие не оставило никаких следов в моей памяти, кроме двух – зато ярчайших. Первый связан с тем, что моя мама потеряла одну из любимых своих вещей: маленький шелковый галстук-бабочку синего цвета в белых горошках и с красной каемочкой. Его нашел мальчик, который был меня чуть больше и чуть старше. Я обрадовался, заметив бабочку в его руке, но он отказался отдать ее, и я бросился на него с таким же праведным гневом, с каким рыцарь Круглого стола, скажем, сэра Ланцелот, сразился бы за честь любимой дамы. Я за свою жизнь познал немало радостей, но лишь немногие могут сравниться с тем чистым восторгом, который я испытал, когда вручил маме то, что отвоевал для нее в честном бою, и увидел ее взгляд, полный благодарности и гордости.



Папа. Фото на паспорт перед отъездом из оккупированной Франции. 1940 г.



Мама. Фото на паспорт. Война сильно изменила ее. 1940 г.

О второй истории я предпочел бы забыть. Опасаясь немецких подводных лодок, капитан нашего корабля шел южнее курса, принятого для рейса Лиссабон – Нью-Йорк. В районе Бермудских островов он заметил тушу кита. Вонь от нее стояла совершенно невыносимая, но капитан, надеясь добыть ценнейшее вещество, амбру, решил взять тушу на борт. Корабль остановился. Потребовалось довольно много времени, прежде чем команде удалось громадной сетью обхватить разлагавшийся труп. Дважды стальной трос корабельного крана лопался со звуком пушечного выстрела, но в конце концов кита подняли на борт – и тут вслед за ним стали выпрыгивать из воды акулы: оказалось, целая стая кормилась и теперь внезапно лишилась лакомства. Разложив китовую тушу на нижней палубе, матросы решили позабавиться и занялись охотой на акул. Нацепили огромный кусок сала на стальной крюк, привязанный к корабельному тросу, и забросили в воду. Выстроившись вдоль нижнего борта, они передавали трос из рук в руки так, чтобы сало как бы плыло по воде. Почти сразу же одна из акул схватила приманку, и матросы, дружно выкрикивая нечто вроде «И – раз... и – раз!», вытянули ее из воды и подняли на борт. Я стоял на средней палубе, непосредственно над этой рыбой. В ней было метра три – для акулы размер не гигантский, но вполне внушительный, особенно с точки зрения шестилетнего ребенка. Один из матросов взял топорик и рубанул им акулу несколько раз. Топорик отскакивал от ее тела, не оставляя следов. Прошло несколько минут, и акула, до этого бившая хвостом по палубе, замерла. Она казалась мертвой, но и мертвая внушала страх.

Потом один из матросов подошел к ней и ткнул ее пальцем в глаз. Акула дернула головой, и матрос отшатнулся. Фонтан крови хлестанул вверх в мою сторону, а матрос остался стоять и обалдело смотреть на то место, где прежде была его кисть: акула отхватила ее одним движением челюстей. С тех самых пор я боюсь акул. Это единственное животное, которое внушает мне страх. Когда-то я панически боялся самолетов, и часто мне снился один и тот же кошмар: лечу над Атлантикой, самолет падает, но я не тону, а болтаюсь в спасательном жилете, кажется, я спасся – и тут появляется самая страшная из всех акул, большая, белая, и рвет меня на части. Боязнь летать я давно преодолел. Боязнь акул – нет и вряд ли одолею.

В нью-йоркском порту нас встречал Стив Шнайдер с родителями. Больше всего меня удивило то, что мы со Стивом одного роста. Полтора года назад, когда мы уезжали, я был заметно выше его. Позже я понял, что из-за дефицита калорийного питания в оккупированной Франции я стал расти медленнее. Вернувшись в Штаты, я мгновенно «пошел вверх» и вновь обогнал Стива.

Наша первая нью-йоркская квартира находилась на Бликер-стрит, в том районе города, который называется Гринвич Вилладж. Это была замечательная улица. Она даже фигурирует в одной из самых моих любимых американских народных песен о товарном поезде, где есть такие слова:

When I die please bury deep
Down at the end of Bleeker Street...¹⁰

Квартирка была небольшая: три комнаты, вытянутые кишкой, да махонькая кухонька. В средней комнате спали родители, я спал в последней, за которой находилась ванная. Первую же комнату можно было – при наличии воображения – считать столовой.

¹⁰ Когда я умру, похороните меня поглубже в конце улицы Бликер... (англ.)



Вова Бараш, папин друг. Он закончил свою жизнь в газовой камере. 1940 г.

* * *

Я точно не помню, в какой из приездов в Нью-Йорк отправится на Бликер-стрит искать нашу первую квартиру. Нашел я ее без малейшего труда, так как этот район города – Гринвич Вилладж – совершенно не изменился. Такое впечатление, что не снесли ни одного дома, не построили ничего нового. Не представляю, каково это – вернуться в город своего детства и этого города не узнать. Но я рад, что такого не произошло со мной. Мне трудно описать чувства, которые я испытал, оказавшись здесь через сорок пять лет после того дня, когда семилетним мальчиком впервые вошел в этот подъезд... Счастье?

* * *

Вот одно из первых воспоминаний: отец кнопками прикрепляет к двери встроенного шкафа большую контурную карту Европы и Европейской части СССР, затем черным карандашом заштриховывает территорию, захваченную немцами после 22 июня 1941 года. При этом он говорит, что им не победить Советский Союз:

– Они никогда не возьмут Ленинград, они никогда не возьмут Москву.

Я помню, с каким вызовом он повторял эти слова, в то время как остальные жалели «бедных русских», у которых нет ни малейших шансов, которым осталось ждать пару недель, в лучшем случае месяц-другой, пока с ними не будет покончено. «Никогда не победят немцы, –

настаивал мой отец, – потому что фашизму невозможно победить социализм, единственную справедливую систему, объединившую всех, словно братьев, и сделавшую их непобедимыми».

В декабре 1941 года у самых ворот Москвы Красная Армия пошла в контрнаступление. Гитлеровский вермахт потерпел первое поражение. По мере наступления советских войск папа заштриховывал отвоеванную территорию красным карандашом, приговаривая (я и сейчас слышу торжественные нотки в его голосе):

– Видишь? Я же говорил тебе!

Это было начало моего политического образования, тогда я впервые услышал слово «социализм», впервые задумался о том, что система может быть справедливой или несправедливой. Пожалуй, именно тогда возник в моем воображении образ страны, которую зовут Советским Союзом, страны, достойной уважения, благодарности и любви.



Я в Марселе. Скоро покинем Францию надолго. 1940 г.



И вот я в Америке. Штат Нью-Гемпшир. 1942 г.



Летний дом наших друзей в городке Массапиккуа, где я провел одно лето

Одно из первых «американских» воспоминаний того военного времени связано с антисемитизмом. Мне было семь лет. Я шел по Бликер-стрит, когда меня остановили двое ребят. Они были больше меня и, как я позже узнал, жили в небольшом ирландском католическом анклав. (Замечу в скобках, что в те годы остров Манхэттен, то есть самый центр Нью-Йорка, состоял из десятков таких анклавов, в которых иммигранты из тех или иных стран, тяготея к «своим», особенно на первых порах, пока встраивались в новую жизнь, жили рядом. По мере ассимиляции иммигрантов многие из этих анклавов со временем исчезли.) Один из ребят схватил меня за плечо и спросил:

– Ты еврей?

Насколько я помню, я никогда прежде не задумывался о своем происхождении. В оккупированной Франции я что-то слышал о евреях и знал о том, что нацисты преследуют их – и это автоматически делало всех евреев героями в моих глазах. Отец учил меня тому, что все люди – люди, что иметь предрассудки в отношении расы или религии – то же самое, что быть нацистом. Поэтому мой ответ был предопределен:

– Не твое собачье дело.

Тот, что был побольше, повернулся к своему приятелю и предложил:

– Ладно, давай снимем с него штаны и посмотрим.

Я не имел ни малейшего представления о том, почему они хотят снять с меня штаны и какое это имеет отношение к заданному вопросу, но не стал размышлять на эту тему. Я побежал от них что было мочи. А надо сказать, бегал я очень быстро. Они кинулись вдогонку. Я завернул за угол и на полном ходу врезался в живот громадного полицейского. В те годы в городскую полицию Нью-Йорка не принимали никого ростом ниже шести футов (ста восьмидесяти двух сантиметра). Все полицейские были ирландцами по происхождению, здоровенными, голубоглазыми, рыжими – никаких «черных», латиносов, женщин. Когда я вернулся в город после тридцативосьмилетнего перерыва, мне в глаза бросились именно рост и внешность тех, кого нежно называли «гордостью Нью-Йорка»: среди них появилось множество невысоких, смуглолицых, «черных» и – да, даже женщины попадались. Итак, я врезался в эту громадину, он сгреб меня в охапку ручищами, каждая размером с окорок, и прорычал:

– Ты что, парень?

Я был весь в слезах, перепуган насмерть и проблеял, что с меня хотят снять штаны и что-то посмотреть. В этот самый момент два моих преследователя выскочили из-за угла. Увидев полицейского, они притормозили, но было поздно. Он отпустил меня и одним поразительно ловким и быстрым движением схватил каждого за воротник, оторвал от тротуара и стал трясти так, как терьер трясет пойманную крысу.

– Ах вы, ублюдки! – заорал он. – Как вам не стыдно! Я поговорю с преподобным отцом Кленси, уж он вас отделает как положено!..

Понятное дело, он знал все ирландские католические приходы наперечет. Тут оба мальчика заревели во весь голос. Он еще немного потряс их, потом опустил с такой силой, что подошвы их ботинок гулко стукнули об асфальт, и словно бык заревел:

– Вон с глаз моих!

И они исчезли. Ирландец повернулся ко мне:

– И ты, парень, давай чеши отсюда. И чтобы больше нюни не распускал. Стыдно же!

Я никогда не забуду этого полицейского. Бывало, мы встречались, когда он патрулировал наш район. Он проходил мимо, молча, величаво, но подмигивал мне. Больше никто ко мне не приставал. И если вам показалось, что я идеализирую стражей порядка из моего нью-йоркского детства, надеюсь, вы не станете упрекать меня за это.

На Бликер-стрит мы жили недолго. Отец стал прилично зарабатывать, и мы переехали на Восточную сорок восьмую улицу, между Третьей и Второй авеню. (Для тех, кто никогда не бывал на Манхэттене, небольшая справка: кроме самой южной, или нижней, части острова, где город зарождался в семнадцатом веке и где улицы беспорядочно бегут в разных направлениях, как в старых городах Европы, весь остальной Нью-Йорк разделен идущими с юга на север *авеню* (проспектами) и с востока на запад – *стрит* (улицами). За редким исключением все авеню и стрит не имеют иных названий, кроме номера. Так, стрит, поднимаясь с юга на север, возрастают по нумерации, авеню же возрастают с востока на запад. Остров Манхэттен делится на восточную и западную части, причем разделительной линией служит Пятая авеню. Я жил на Восточной сорок восьмой стрит, то есть к востоку от Пятой авеню.) Из трехкомнатной квартиры, или, как принято считать в Америке, квартиры с двумя спальнями, мы переехали в четырехэтажный дом, так называемый *браунстоун*. Мальчишке там было раздолье. Более всего мне почему-то запомнилась кухня на первом этаже, где я получил первые уроки кулинарии от мамы и где папины русские друзья, такие же отверженные революцией люди, как и он, собирались, чтобы гонять чай и спорить о политике. Я не знал ни одного слова по-русски, но иногда из уважения к маме они переходили на французский, что помогало мне хоть как-то уловить смысл обсуждаемого.

Есть еще одно воспоминание, которое я тоже с радостью стер бы из памяти. На восточной стороне Третьей авеню в районе пятидесятих улиц размещалось множество антикварных магазинчиков и лавок. Сквозь стекла их витрин я с вождением разглядывал предметы старины: окуляры, письменные принадлежности, бронзовые чернильницы... Однажды я увидел настоящую кавалерийскую саблю. Желание обладать этим роскошным предметом было сильнее меня. Я вошел в магазин и спросил хозяина, сколько он хочет за саблю. Мне было девять лет, поэтому он равнодушно посмотрел на меня и процедил: «Пять баксов».

Ради этой сабли я готов был пойти на любое преступление и выкрал пять долларов из сумочки тети Кристиан, жившей в те годы у нас. Потом, за ужином, я рассказал захватывающую историю о том, как на улице нашел пятидолларовую бумажку и – хотите верьте, хотите нет – купил себе кавалерийскую саблю времен Гражданской войны. Я был уверен в убедительности своей истории, но как оказалось, не подумал о том, что тетя Кристиан тщательно считает каждый свой доллар. Она была матерью-одиночкой, зарабатывала на жизнь в поте лица и жила с нами потому лишь, что не имела денег на аренду квартиры. Она знала, сколько денег в ее кошельке – до последнего цента. И в тот самый день, когда я «нашел» пять долларов, она обнаружила их пропажу. Собственно, тогда я получил урок под названием «преступление и наказание» (надеюсь, Федор Михайлович и его поклонники простят меня за невольный плагиат). Как и подавляющему большинству людей, мне пришлось испытать последствия своей глупости на собственной шкуре. Я и сейчас ежусь от стыда, вспоминая беспощадный, презрительно-холодный допрос, учиненный отцом, а потом позор, который я испытал, будучи вынужден подняться к тете в комнату, чтобы признаться ей в содеянном. Урок был жестокий, но полезный: я тогда понял, что моральное наказание гораздо болезненнее, чем физическое, и оставляет значительно более глубокие раны.



Летний дом, который снимали мои родители в Миллер Плейсе на Лонг Айленде



Папа, я, Пэт Уиндрои. Миллер Плейс, 1944 г.

В 1944 году мы переехали в изумительную двухуровневую квартиру на Восточной Десятой стрит между Пятой авеню и Университи Плейс. Эта квартира остается в моей памяти как одна из самых красивых, какие я когда-либо видел. Она принадлежала знаменитому в то время

адвокату Артуру Гарфилду Хейзу и была плодом дизайна его супруги, женщины необыкновенно талантливой, на много лет опередившей вкусы в области архитектуры интерьеров. Она скончалась в молодом возрасте, и господину Хейзу стало невмоготу жить там, где все напоминало о ней. Он переехал на четвертый этаж этого браунстоуна, принадлежавшего ему целиком, мы же сняли ту самую чудесную квартиру, расположенную на втором и третьем этажах. На первом жил знаменитый в то время киноактер Джон Гарфилд.

* * *

Говорят, невозможно вступить дважды в одну и ту же воду. Вернувшись в Нью-Йорк, я отправился посмотреть и на этот свой дом. Поднявшись по его ступенькам и присмотревшись к фамилиям его жильцов, я увидел, что в квартире господина Хейза, давно почившего в бозе, живет его дочь, с которой я когда-то был знаком. Набравшись храбрости, я позвонил. Когда по домофону женский голос спросил: «Кто там?» – я сказал: «Это Влад Познер». Она промолчала буквально пять секунд, потом раздалось: «Влад! Это ты?! Поднимайся!» И я вошел второй раз в одну и ту же воду. Так и хочется процитировать Гоголя: «Кто что ни говори, а подобные происшествия бывают на свете – редко, но бывают».

* * *

Эти годы – с 1941 по 1946 – были для меня счастливыми. Я ходил в замечательную школу, «Сити энд Кантри», в которой обучались дети весьма обеспеченных, но либеральных родителей. Это была, конечно, частная школа, более того, одна из самых старых частных школ Америки. В те годы почти не было частных школ, в которых «чернокожие» дети учились бы с белыми, но здесь все было иначе: нам внушали мысль, что цвет кожи не имеет значения. С нами занимались несколько цветных ребят (тогда не появилось еще понятие «политкорректность» и негров полагалось называть цветными, а не «черными», как сейчас). Сегодня никого этим не удивишь, но в те годы это было нечто из ряда вон выходящее, можете мне поверить. У нас были замечательные учителя. Они не только любили детей, но – что не менее важно – знали, как обращаться с ними.



Я с двухлетним Павликом. Нью-Йорк, 1947 г.

* * *

Потом настало время, когда слово «цветной» уступило место слову «черный», а за ним последовало «афроамериканец». Странно все это. Мы все цветные в той или иной степени. Нет ни реально белых, ни «черных», ни желтых. Но есть расизм и сопряженное с ним чуть стыдливое стремление подчеркнуть свою «особливость». Помню, отец говорил, что в Советском Союзе нет расизма, нет антисемитизма, со смехом рассказывал, как после революции жестко боролись с этим, и люди вместо «поджидая трамвай» говорили «подевреиваю трамвай». Я еще вернусь к этому вопросу, но не могу не сказать о том разгуле расизма, крайнего национализма, шовинизма, которым охвачена нынешняя Россия. Такое впечатление, что никакого Советского Союза с его «дружбой народов» и не было (а была ли она, это дружба?) и все вернулось к царской империи с ее черными сотнями, союзами Михаила Архангела и прочими прелестями. В интеллигентской среде не считаются зазорными (уж не говорю – позорными) высказывания типа «терпеть не могу „черных“», „все чеченцы – воры и убийцы“ и столь же „лестные“ суждения о грузинах, армянах, азербайджанцах, казахах, узбеках, таджиках и так далее – список бесконечен. Постепенно я прихожу к выводу, что Россия – страна расистов. И поразительно то, что ни руководство, ни церковь, ни даже правозащитники не считают нужным противостоять этому.



Мама. Нью-Йорк. 1946 г.

* * *

Помню директора и основателя школы Кэролайн Пратт – женщину поразительную.

Я был драчуном. В течение первых двух лет моей учебы в школе (классы обозначались в соответствии с возрастом учащихся: семилетки – в седьмом классе, восьмилетки – в восьмом и так до выпускного, тринадцатого) я постоянно затевал драки. Поскольку для своих лет я был довольно крупным мальчиком, потасовки чаще всего кончались в мою пользу. Как поступили бы со мной в обычной школе? Наказали бы, попытались бы так или иначе сломить меня и, если бы ничего не получилось, выгнали бы. Так сделали бы многие школьные директора, но только не мисс Пратт. По окончании мною восьмого класса она вызвала меня к себе в кабинет

на беседу. Она сказала, что я – отличный мальчик, но есть проблема: я слишком опережаю в развитии учеников моего класса. Поэтому она приняла решение перевести меня через класс. Таким образом, я начну новый учебный год не в девятом, а в десятом классе. Я заплакал и стал упрашивать ее не делать этого. Мне казалось, что меня выдергивают из моего привычного мира и бросают в мир чужой и враждебный. Мисс Пратт улыбнулась, погладила меня по голове и ободрила: «Не плачь, Влади, – чаще всего меня так называли в Америке, – все будет хорошо».



Я со своим любимым Жуком. Нью-Йорк, 1945 г.

Таким образом я оказался в классе, где ребята были на год, а то и на два старше меня... и конечно же значительно крупнее. Вот так решила мисс Кэролайн Пратт справиться с моей агрессивностью. Если я хотел драться, она не возражала, но предложила драться с теми, кто способен дать сдачи, чтобы я не взял в привычку мутузить слабых. Что до возможных моих проблем с успеваемостью, то этот вопрос даже не возникал.



Встреча нового 1947 года у нас дома. Мама крайняя слева

Учеба в «Сити энд Кантри» совершенно отличалась от общепринятой системы зубрежки. Могу даже сказать, что нигде более я ничего подобного не встречал. Я не помню, чтобы мы учились по учебникам, у нас их не было вообще, но те знания, то мировоззрение, которые я получил в этой школе, определили мое отношение к жизни. Я назвал бы его гармоничным, а не конфронтационным.

У нас была своя столярная и гончарная мастерские. Там нас учили эстетике, хотя мы и не подозревали, что нас хоть чему-то там учат. В одиннадцатом классе у нас были свои печатные станки – один ручной, другой электрический. Мы учились печатному набору, сдавали экзамен и получали звание подмастерья или мастера. Мы печатали для школы пригласительные билеты, рекламные листы, конверты и т.д. В одиннадцатом классе мы познакомились с Гутенбергом – изобретателем печатного станка, узнали о Высоком Возрождении в Европе. И получалось так, что Гутенберг и его станок для нас являлись не покрытыми пылью веков субъектами истории, а живыми и совершенно реальными. Мы сами становились гутенбергами, управляя созданной им машиной, конкурируя за право набора и печати, за право называться мастером-печатником. Когда мы проходили Средние века в десятом классе, нас обучили письму по пергаменту, умению смешивать краски и пользоваться ими так, как это когда-то делали средневековые монахи. Каждый из нас выбирал себе одного ученика выпускного тринадцатого класса и в течение полугода работал над его дипломом, расписывая в нем заглавные буквы кармином и золотом. Сидя над листами пергамента, мы были не Питером, Влади или Биллом, сидящими в школьном классе города Нью-Йорка, – нет, мы были монахами, затерявшимися в своих кельях где-то в средневековой Франции или Англии; до нашего слуха доносился слабый перезвон колоколов, а мы корпели над творениями, которые когда-то, через много веков, вызовут удивление и восхищение у будущих поколений.

Школа предлагала нам самую разнообразную деятельность. Ученики восьмого класса заведовали школьной почтой – продавали марки, конверты, открытки, которые покупали и учителя, и учащиеся. Это был совершенно конкретный способ учиться как арифметике (ведь надо было вести книги учета), так и обслуживанию клиента. Девятый класс заведовал школьным магазином писчебумажных принадлежностей. Там можно было купить карандаши, тетради, блокноты, ластик, акварельные краски и кисти и многое другое. Школа приобретала все

это по оптовым ценам, а ученики продавали по розничным, вели бухгалтерский учет, одновременно усваивая такие понятия, как дроби, проценты, прибыль и кредит. Да, это была поразительная школа, но самым невероятным в ней, самым ее сердцем, по крайней мере на мой взгляд, являлась библиотека и заведовавшая ею библиотекарь. Я не помню ее фамилию, но помню лицо с такой ясностью, будто мы с ней виделись вчера, а не сорок с лишним лет тому назад. Библиотека манила каждого из нас – при первой же возможности мы неслись туда сломя голову. Это был большой зал, вдоль трех стен которого и до самого потолка стояли полки с книгами. Четвертую стену занимали шесть громадных окон, благодаря чему библиотека всегда была залита светом. Никому из нас никогда не говорили, что нельзя брать ту или иную книжку потому, мол, что мы еще маленькие. Но нас необыкновенно умело подводили к нужным книгам, я бы даже сказал, соблазняли именно теми книгами, которые были для нас полезны. Вот ты стоишь у одной из полок, изучая разноцветные корешки, и библиотекарь подходит к тебе, нагибается и с заговорщическим видом шепчет на ухо: «Тут есть книжечка одна... Советую тебе взять ее, пока не схватил кто-нибудь другой. Хочешь?»

Еще бы, конечно, хочу! Вот так мы часами сидели в белых с синими подушками соломенных креслах, расставленных в форме каре по всему залу, и читали. Мы словно ныряли в эти тайные книги, выходя на поверхность для того лишь, чтобы, оглядевшись, испытать сладкое чувство своей избранности, ведь только мы владели этим сокровищем. Книги вели нас в новые, сказочные миры. Я шел рука об руку с медвежонком Пухом, боролся против шерифа Ноттингемского и ничтожного Короля Джона вместе с Робин Гудом и его веселыми ребятами (особенно я любил Малыша Джона), я сражался на стороне Короля Артура и рыцарей Круглого стола, среди которых выделял Ланселота и Гавейна, я участвовал в войнах Алой и Белой розы, отбивал девицу Мэриан и лично прикончил сэра Гая из Гисборна; вместе с Джимом Хокинсом я был на Острове сокровищ, и резкие крики попугая Длинного Джона Сильвера до сих пор звенят у меня в ушах; я плывал по Миссисипи с Томом Сойером, Гekom и Джимом, я влюблялся в Озму, принцессу Изумрудного города, я раскачивался в такт Песни о Гайавате; я дрался плечом к плечу с д'Артаньяном, Атосом, Портосом и Арамисом (именно в таком порядке); я не уступил «Волку» Ларсену; я безудержно плакал на судьбой каждого из животных, населявших страницы книг Эрнеста Сетона Томпсона; я раскачивался на лианах в джунглях вместе с Маугли, утопал лицом в шелковой шерсти Багиры, вместе с Рикки-Тики-Тави чувствовал, как глаза мои наливаются кровью и ноги напрягаются в ожидании отвратительных гадин Нага и Нагиньи. Словом, я кое-что повидал на своем веку – и это лишь малая часть.

Что и говорить, эта библиотека да и вся школа были уникальны. И за всем этим стояла настоящая забота, настоящая любовь учителей к детям. Это я стал понимать гораздо позже, тогда все принимая как должное. Хотя имел уже и другой опыт, относившийся к первому моему школьному году во Франции. 1940 год – время оккупации, учителя были подобраны немцами. Нас, учеников, рассаживали в классе в соответствии с успеваемостью: лучший ученик сидел справа за первой партой, за ним, за второй партой, ученик, занимавший второе место по успеваемости, за ним – третий. Всего в классе было четыре ряда по десять парт в каждом. За последней, сороковой, партой крайнего левого ряда, сидел худший из всех. В течение года нас передвигали вперед-назад и слева направо, словно фигурки в какой-то причудливой игре. На самом деле все это приводило к конкуренции и зависти среди шестилетних детей. Учитель расхаживал по классу, держа в руке длинную гибкую деревянную указку с круглым набалдашником на конце. Тот, кто баловался, получал набалдашником по голове. Это было и больно, и унижительно. Таков был немецкий метод обучения. Или, скажем, французский метод с немецким акцентом.

Я окончил «Сити энд Кантри» в двенадцать лет и поступил в Стайвесант Хай-скул, по нашему – в среднюю школу имени Стайвесанта. Школа имени первого губернатора Нью-Йорка (в то давнее время город назывался Нью-Амстердамом) голландца Питера Стайвесанта была

и остается в числе лучших в Америке. Она одна из тех немногих, для поступления в которые необходимо сдать конкурсные вступительные экзамены. Несмотря на ее академическую элитарность, в классах было по сорок учеников, и большинство учителей относились к ним с полнейшим равнодушием – так по крайней мере казалось мне. Учителя учили нас, тестировали. Если ты преуспевал – значит, преуспевал, если нет – значит нет. Если в конце года по сумме тестов ты получал провальную оценку, тебя исключали. Просто и понятно, и никому нет до тебя дела. Выпускника «Сити энд Кантри», привыкшего к вниманию и любви учителей, подобное отношение шокировало.



Выпускной класс моей любимой City & Country School. Я – во второй справа во втором ряду. 1946 г.

Живя в Америке, я прекрасно понимал, что я – не американец. Не могу сказать, откуда я это знал, хотя, быть может, ощущал интуитивно из-за отца. Ему Америка *не нравилась*, хотя он весьма преуспел, служа в Louis Incorporated, дочерней компании кинокорпорации MGM (та, чьи фильмы начинаются с появления рычащей львиной головы). В 1946–1947 годах он зарабатывал двадцать пять тысяч долларов в год, что сегодня составляло бы около трехсот тысяч. Как я уже писал, у нас была изумительная квартира, а лично у меня, сопливого юнца, имелась не только собственная спальня, но и отдельная комната для игр и своя отдельная ванная комната. Так что нелюбовь отца к Америке не имела отношения к проблемам карьерным или финансовым. Просто он был до мозга костей европейцем; американцы казались ему людьми поверхностными, неотесанными. Такое мнение многие европейцы разделяют и по сей день.



Новый 1947-й год, за пианино нелюбимый мной Стеллан Уиндрои

* * *

Я уехал из Америки, когда мне было неполных пятнадцать лет. Мое знание страны ограничивалось именно этим опытом; с одной стороны – бесценным, даже невозполнимым, но с другой – все-таки недостаточным. Кроме Манхэттена, где жил и учился, я мало где бывал – летом во время школьных каникул на Лонг-Айленде, под Вашингтоном у моей тети и двоюродных братьев. После отъезда, живя в оккупированной советскими войсками Германии и затем в Германской Демократической Республике, я от Америки был отрезан. Да и оказавшись в Советском Союзе, я не имел никаких контактов с Америкой или американцами вплоть до 1957 года и Всемирного фестиваля молодежи и студентов (об этом еще будет сказано). Не вдаваясь в подробности, скажу, что мое «открытие» Америки началось лишь при первом моем возвращении в страну в 1986 году и продолжалось вплоть до создания документального фильма «Одноэтажная Америка» (2006 год). За эти двадцать лет я не только ездил по стране с лекциями, не только работал на американском телевидении, но исколесил ее вдоль и поперек и могу теперь заявить, что знаю американцев настолько, насколько человеку вообще дано знать какой-либо народ.

Американцев, на мой взгляд, отличают некоторые совершенно замечательные черты: удивительная и совсем не европейская открытость, удивительное и совсем не европейское чувство внутренней свободы, удивительное и совсем не европейское отношение к работе. Есть, конечно, и черты иные – тоже не европейские: в частности, отсутствие любопытства ко всему, что не является американским, довольно низкий уровень школьного образования.

Образ туповатого, малообразованного, хамоватого американца, который так культивируется в Европе, не более чем неудачная каррикатура. Образ этот рожден, как мне кажется, одним характерным для всех европейских стран чувством: завистью. Это же относится и к русскому антиамериканизму, к образу «америкоса», столь дорогому многим русским сердцам. Да, американцам и Америке завидуют, многие втайне хотели бы жить так, как

живут они, потому носят джинсы и «ти-шерты»¹¹, жуют жвачку, пьют кока-колу, едят в кинотеатрах попкорн, преклоняются перед голливудскими звездами и блокбастерами, млеют от американских сериалов, восторгаются американской попсой – и завидуют.

В России это принимает престранные формы. Антиамериканизм становится знаменем различного рода молодежных объединений – «Наших», «Нацболов», «Молодогвардейцев», всякого рода полуфашиствующих шовинистических групп. Им противостоят «продвинутые либералы», для которых Америка – вершина цивилизации. Порой все это обретает комические черты.

В России мои противники из «патриотического» крыла обзывают меня «американцем», подразумевая тем самым, что я ненавижу Россию и желаю ей гибели; мои противники из «либерального» крыла (а их, поверьте, ничуть не меньше) не могут обзвать меня «американцем», поскольку это было бы высшей похвалой. Поэтому они используют такие обидные словечки, как «приспособленец», «и нашим, и вашим» и тому подобные.

Смешно. И скучно.

* * *

Итак, я понимал, что я не американец. Но я также осознавал, что я не русский. Как я мог быть русским, если не знал по-русски ни слова? На самом же деле я считал себя французом. А как же? Мама моя – француженка, я родился в Париже, так о чем речь? Француз я – и точка. Это мое убеждение в точности совпадало с французскими законами, принятыми, когда в результате Наполеоновских войн Франция потеряла почти весь цвет своего мужского населения. Закон гласит: ребенок мужского пола, рожденный во Франции от французской матери или французского отца, является гражданином Франции и не может отказаться от своего гражданства без особого решения Хранителя печати государства. Так что с точки зрения французских властей я – не просто гражданин Франции, а гражданин, уклонившийся от военной службы, конкретно – от участия в войне в Алжире. Стоит мне ступить ногой на французскую землю, и власти имеют законное право арестовать меня. Но хоть я и вступал туда не раз, власти выказывали необыкновенное сочувствие к моей непростой жизни. *Vive la France!*

* * *

Так-то оно так, но требуется некоторое дополнение.

Зимой 2004 года я получил от Эльдара Рязанова приглашение на прием в честь его награждения французским орденом. Рязанов сделал целый ряд телевизионных программ о Франции, представив ее культуру и искусство российскому зрителю, за что правительство этой страны выразило ему благодарность. Все это происходило в резиденции посла, причудливом купеческом особняке, что стоит на улице Якиманке. Собралось довольно много народу, и вот в назначенный час посол Франции господин Клод Бланимезон, видный мужчина средних лет, выступил вперед и, сказав короткую, но полную достоинства речь, вручил Рязанову орден. Эльдар Александрович, явно растроганный, ответил не менее достойно, раздались аплодисменты, и на этом торжественная часть завершилась. Начался фуршет.

Гости разбрелись по двум-трем залам, а посол вместе со своей переводчицей переходил от группы к группе, обмениваясь, в общем, банальными фразами. Настала и наша очередь, и поскольку я оказался ближе всего к подошедшему послу, он заговорил первым со мной. Не

¹¹ Ти-шерт – от англ. t-shirt – футболка, тенниска.

помню, что именно он произнес, но когда его переводчица вступила в разговор, я пояснил на чисто французском языке, что перевод мне не нужен.

– А, так вы француз? – спросил посол.

– Как вам сказать, – ответил я, – я родился в Париже от французской матери, но...

– Никаких «но», – перебил меня господин Бланимезон, – если вы родились во Франции от французки, значит вы француз.

– Да, но у меня нет французского паспорта...

– Это не проблема, позвоните мне в понедельник.

Разговор происходил в пятницу. Когда я позвонил в понедельник, секретарь посла сообщил мне, что моего звонка ждет генеральный консул. Я тут же позвонил и был приглашен на среду. Я пришел в указанные день и время, взяв с собой свидетельство о рождении и копию французского удостоверения личности моей мамы. Консул ознакомился с этими документами и, достав мое личное дело, удивившее меня своим объемом, сказал:

– Что ж, месье, все у вас в порядке. Месяца через два или три – уж так работает наша бюрократия – вы получите паспорт и удостоверение личности.

Приблизительно через шесть недель мне принесли письмо от консула, в котором было написано следующее:

«Уважаемый месье Познер,
Прошу Вас явиться (день, число, время) для решения интересующего Вас вопроса.
С совершеннейшим уважением,
(Подпись)».

Явившись, я вновь встретился с консулом, который, протянув мне руку, сказал:

– Месье Познер, имею честь поздравить вас с французским гражданством.

Это случилось 16 февраля 2005 года, и тот день остается одним из самых счастливых в моей жизни.

За полтора года до этого я стал гражданином Соединенных Штатов Америки. Это произошло при куда менее романтических обстоятельствах: приехав на работу в США в 1991 году, я вскоре подал бумаги на получение так называемой «грин кард» (green card) – документа, дающего обладателю абсолютно такие же права, как любому американскому гражданину, кроме права голосовать и быть избранным, но и все обязанности тоже, главная из которых – платить налоги.

Green card дается не сразу и не каждому, но я получил ее очень быстро. Не стану докучать вам описанием тех правил, которые надо соблюдать для сохранения грин кард, замечу лишь, что, имея этот документ и прожив в США не менее пяти лет, вы имеете право подать на гражданство. Что я и сделал. Американский закон гласит: если вы родились в Америке, вы автоматически становитесь гражданином; более того, если вы захотите получить гражданство еще одной страны, вам придется отказаться от американского. Логика простая и очень американская: нет большего блага, чем родиться американцем, и если вы не дорожите этим и хотите получить иное гражданство, что ж, это ваше право, но американского гражданства вас лишат. Однако этот же закон говорит, что если вы не родились американцем, являетесь гражданином другой страны и хотите стать американцем – пожалуйста, ваше иное гражданство не помеха.

Словом, наступил торжественный день, когда меня и мою жену вызвали в центр по получению гражданства, расположенный в нижней части Манхэттена в абсолютно безликом здравом здании.

Помимо пятилетнего пребывания, для получения гражданства надо: а) доказать устно и письменно, что вы знаете английский язык и б) ответить на десять вопросов об Америке.

При желании вы можете совершенно бесплатно по почте получить вопросы предстоящего «экзамена». В огромном, довольно спартански обставленном и холодном зале ждали вызова человек двадцать «абитуриентов». Почти все были со своими адвокатами, которым в случае чего предстояло доказать, что их клиент достоин американского гражданства. Обстановка была нервная и напряженная. Примерно через двадцать минут ко мне подошел высокий худощавый человек лет пятидесяти, на вид образцово-показательный американский чиновник: невыразительные очки, столь же невыразительный коричневый костюм с короткими, чуть не доходящими до туфель штанинами, белой сорочкой и – опять же – совершенно невыразительным галстуком.

– Екатерина Орлова и Владимир Познер? – спросил он.

Получив утвердительный ответ, он продолжил:

– Мистер Познер, вы не возражаете, если дама пойдет первой?

И увел Катю. Мне было совершенно ясно, что нам оказано особое внимание, ибо к другим жаждущим американского гражданства никто не подходит, лишь по громкоговорителю раздается то и дело:

– Мистер Роберто Гонзалес, кабинет восьмой.

– Миссис Светлана Гринберг, кабинет двенадцатый.

Я же был человеком, известным в США не только потому, что проработал почти семь лет на канале CNBS с Филом Донахью, но, возможно, в большей степени из-за своей прошлой пропагандистской деятельности. Словом, я считался VIP.

Минут через сорок вернулась Катя – гражданка США, по словам чиновника в коричневом, блестяще справившаяся с заданием.

– Теперь, – сказал он, чуть нажимая на каждое слово, – посмотрим, как справитесь вы. И повел меня в кабинет.

– Мистер Познер, – начал он, – прежде всего вы должны доказать, что читаете, пишете и говорите по-английски. Это в вашем случае формальность, но будем соблюдать закон. (Вот оно! Понимаете, это чистая формальность, чиновник знает, что я говорю и пишу по-английски лучше, чем он, но есть порядок и его надо соблюсти. Вся Европа смеется над этим – и напрасно. Это вовсе не демонстрация тупости, ограниченности, нет, это демонстрация абсолютного уважения к закону, который одинаков для всех).

– Вот, мистер Познер, – сказал он, протянув мне лист бумаги, – прочитайте первое предложение.

Я прочел. Затем мне был выдан чистый лист с предложением написать что-нибудь. Я спросил, что именно.

– Напишите: «Я хочу быть хорошим гражданином Соединенных Штатов Америки».

Я написал.

– Что же, – произнес чиновник, – теперь ответьте на десять вопросов, которые я вам сейчас задам. И помните, сделаете больше трех ошибок – значит, не сдали. Ясно?

Я ответил правильно на все десять – и не подумайте, что это говорит о моих глубоких знаниях США. Вопросы были простые.

– Поздравляю, – сказал он. – Позвольте я задам вам еще один вопрос вне программы, для удовлетворения моего личного любопытства. Можно?

И он спросил, какой была первая столица США. Я ответил правильно (Нью-Йорк), и дальше произошло самое интересное. Чиновник достал толстенный фолиант, раскрыл его и уточнил:

– Мистер Познер, заполняя опросник, вы написали, что были членом КПСС. Это так? Я кивнул.

– Вы понимаете, что этот факт дает нам основание отказать вам в гражданстве?

– Да, понимаю. А вы хотели бы, чтобы я соврал и написал, что не состоял?

– Мистер Познер, вы также пишете, что вступили в партию с целью изменить ее к лучшему. Это так?

– Да. Это было наивно с моей стороны, но это так.

– Ну, это же меняет дело! Позвольте поздравить вас с удачной сдачей всех тестов. После этого он вывел меня в зал, где сидела Катя, и проводил нас в еще один кабинет. Там поджидал коренастый, усатый человек в темно-синем костюме, который должен был привести нас к присяге.

– Мистер Познер, вам надлежит повторить за мной клятву верности флагу Соединенных Штатов Америки. Вы готовы? Я кивнул.

Поднимите правую руку и посмотрите на флаг. И теперь повторите за мной.

– «Я клянусь в верности...» – начал он, и я повторил.

– «Флагу Соединенных Штатов Америки...» – продолжал он, и я повторил.

– «И Республике, которую она олицетворяет...» – и я повторил.

– «Одна нация под Богом, неделимая, со свободой и справедливостью для всех...»

И тут я занулся. Усатый господин вопросительно посмотрел на меня.

– Видите ли, сэр, я атеист, и слова «под Богом» для меня неприемлемы.

– Можете эти слова опустить, – ответил он настолько обыденно, что стало ясно: мой случай далеко не редкий.

Я повторил клятву без упоминания всевышнего, господин с усами пожал мне руку, поздравил с вхождением в гражданство и вручил соответствующий документ за подписью президента Билла Клинтона.

Этот день – 4 ноября 2003 года – тоже числится среди самых счастливых в моей жизни. Завершу эту «паспортную» сагу еще одним рассказом.

Года через два я прилетел из Москвы в Нью-Йорк. Прошел паспортный контроль, где пограничный офицер поздравил меня «с возвращением домой», поехал в гостиницу и обнаружил, что паспорта нет. То ли его украли, то ли я его выронил, но факт оставался фактом: паспорт пропал.

На следующее утро, ровно в девять, я позвонил в Паспортный центр города Нью-Йорка. Как ни старался, я не смог добиться живого человеческого голоса, а бесконечная запись не разъясняла, как мне поступить. И я поехал. Центр этот тоже находится в нижней части острова и выглядит столь же безлико, как тот, в котором я получил гражданство. У входа стояли двое вооруженных автоматами охранников. Я подошел и начал:

– Я потерял паспорт и хотел бы...

Один из них перебил меня:

– Прямо, налево по коридору, белое окошко.

В окошке сидела афроамериканка не слишком приветливого вида.

– Я потерял паспорт... – заговорил я, но она тоже перебила:

– Белый телефон на стенке справа.

И в самом деле, на стене висел белый телефон, а рядом с ним, за прозрачной пластмассовой защитой, была прикреплена инструкция. Начиналась она так:

«1. Поднимите трубку.

2. Услышав гудок, нажмите цифру «1».

3. Услышав слово «говорите», четко и ясно изложите свой вопрос...»

И так далее. Таким образом я получил порядковый номер и время, когда должен подняться на десятый этаж в зал номер такой-то. На часах было 9:30 утра, а встречу мне назначили на 11:00. Я вышел, попил кофе, почитал газету и вернулся без пяти одиннадцать.

– Мой номер такой-то, – сказал я охранникам, которые жестом пригласили меня пройти. Я поднялся на десятый этаж, вошел в большой зал, часть которого состояла из застекленных окошек. Не успел я сесть, ровно в одиннадцать раздался голос: «Владимир

Познер, окно номер три». Я подошел. Меня поджидал мужчина лет пятидесяти, лицо которого я почему-то запомнил – может, потому что он удивительно походил на Чехова. – Привет, как дела? – спросил он. – Да так себе. – Что случилось? – Да то ли у меня украли, то ли я потерял паспорт. – Ну, это не беда. Вот вам бланк, заполните его. Я заполнил и вернул бланк Чехову.

– Та-а-а-к, – протянул он, – вы натурализованный гражданин США?

Я кивнул.

– Это чуть осложняет дело. У вас есть документ, подтверждающий ваше гражданство?

– Есть, но он в Москве, я его не возжу с собой.

– А напрасно. Надо иметь при себе хотя бы ксерокопию.

– Я могу позвонить в Москву и попросить, чтобы прислали мне в гостиницу копию по факсу – поеду, получу и вернусь к вам.

– Отлично, буду ждать, – сказал Чехов.

Я тут же позвонил, помчался в гостиницу, где факс уже ждал меня. Схватив его, вернулся в Паспортный центр. В половине первого я подошел к окошку номер три и протянул факсимильную копию. Чехов посмотрел на нее, покачал головой и сказал:

– Сэр, мне очень жаль, но я получил разъяснение, что нам нужен оригинал.

– Но оригинал в Москве. Не могу же я лететь туда, не имея паспорта!

– И не надо, сэр, не нервничайте. В Вашингтоне имеется второй оригинал, который нам пришлют. Но эта операция будет стоить вам девяносто долларов. Я готов был заплатить любую сумму, лишь бы получить паспорт.

– Мистер Познер, – сказал Чехов, – вас будут ждать ровно в три часа в зале номер два. Я вышел на улицу, съел хот-дог «со всеми причиндалами» – так говорят, когда на сосиску накладывают все специи и все соусы плюс кетчуп и горчицу. Запил эту гадость бутылкой кока-колы, и без пяти три пришел в зал номер два. Ровно в три раздался голос:

– Мистер Валдимир Познер! – Именно так, Валдимир, а не Владимир.

Я подошел к окошку. Довольно мрачная черная женщина протянула мне паспорт и сказала:

– Проверьте, все ли правильно.

В паспорте значилось «Владимир», а не «Валдимир». Все было правильно.

– Распишитесь в получении.

Я расписался. Время было пять минут четвертого. Меньше чем за один рабочий день я получил новый паспорт. Признаться, я был потрясен.

Я отправился в другой зал, подошел к окошку, за которым сидел Чехов, и сказал: – Сэр, не могу даже подобрать слова, чтобы выразить вам благодарность за такую работу. Я поражен.

Чехов посмотрел на меня и совершенно серьезно, я даже сказал бы строго, ответил:

– Сэр, вы за это платите налоги.

* * *

Несмотря на то, что я осознавал себя французом, несмотря на прохладное отношение к Америке отца, я-то Америку любил. Я обожал Нью-Йорк – и продолжаю его любить. Я люблю его улицы, его запахи, его толчею. Этот город был – и в определенном смысле остается – моим городом. Тогда я не понимал, что люблю его, ведь дети редко думают о таких вещах. Но там я чувствовал себя дома.

Как любой американский мальчик того (да и настоящего) времени, я обожал бейсбол. Мои первые воспоминания об этом «всеамериканском времяпрепровождении», как его там

называют, связаны с двумя бейсбольными мячами, которые были подарены моей матери игроками сборных «всех звезд» Американской и Национальной лиги во время ее работы над документальным фильмом об их ежегодной игре – в данном случае 1937 года. На одном мяче стояли автографы «всех звезд» одной лиги, на другом – подписи звезд другой. Каких там фамилий не было! И Хаббел, и Гериг, и ДиМаджио... Пусть российский читатель попробует представить себя обладателем хоккейной клюшки с автографами Боброва, Пучкова, Якушева, Харламова, Фирсова, Петрова, Александрова, братьев Майоровых, Старшинова, Третьяка, Мальцева... Сегодня в Америке эти мячи были бы оценены на вес золота.



Я играю в софтбол в составе созданной мною команды «Московские чайники». Сан-Франциско, 1990 г.

В «Сити энд Кантри» мы играли не в бейсбол, а в софтбол, это в общем одно и то же, только мяч побольше и помягче, что позволяет играть без перчатки-ловушки. Отец одного из моих соучеников, брокер с Уолл-стрит, приятельствовал с владельцем самой знаменитой из всех бейсбольных команд – «Нью-йоркские Янки». Поэтому Бобби, его сын, знал о «Янки» все, был знаком с игроками, даже имел счастье посидеть с ними на скамейке запасных во время игр на легендарном «Янки-стадионе». Господи, да он даже здоровался за руку со знаменитым Филом Риззутто! Бобби изобрел игру – бейсбол на косточках. Каждый бросок косточек, каждая их комбинация обозначала какой-то момент бейсбольного действия. Сила изобретения заключалась в том, что для игры не требовался партнер; ты бросал кости и для одной команды, и для другой. Мы были фанатами этого дела. Каждый имел особую тетрадь, в которой расписывал все команды двух высших бейсбольных лиг, всех игроков, и мы разыгрывали свой чемпионат страны, тщательно ведя учет всем удачам и неудачам. Но, пожалуй, увлекательнее всего было

создавать команды из любимых героев. Например, в одной из моих команд играли три мушкетера (д'Артаньян, понятное дело, был лучшим), Гайавата, Маугли, сэр Ланцелот, Гек Финн и Том Сойер. Кроме того, в запасе у меня имелся Джим – тем самым я ввел «черного» игрока в состав высшей лиги раньше, чем «Бруклинские Доджеры», которые первыми в истории бейсбола включили в команду Высшей (и совершенно белой) лиги великого Джеки Робинсона. Эта команда называлась «Герои». У меня был целый набор команд, но только одна из них могла конкурировать с «Героями» – «Могучие Мифы». В нее входили такие игроки, как Геркулес, Пол Баньян и Святой Георгий, но не стану больше докучать вам деталями. Я стал болельщиком «Янки» отчасти из-за Бобби, но главным образом благодаря тому, что дважды встретился с Джо ДиМаджио – первый раз у отца на работе, второй – после игры в раздевалке «Янки-стадиона».

Нынешнему американцу трудно представить себе, какой фигурой для бейсбола тридцатых — сороковых годов был «ДиМадж», как его ласково называли. Это тем более сложно понять русскому читателю, который если и имеет представление об этом человеке, то весьма смутное. Могу твердо заявить: таких игроков сегодня нет. Он был буквально живой легендой. Существовали другие замечательные игроки, но ДиМадж – особый. Он олицетворял все лучшее, что имелось в бейсболе, он был безупречным рыцарем без страха и упрека, моим идеалом, да что там – идиолом. Он обладал необыкновенным чувством собственного достоинства, внушал уважение, в нем ощущался настоящий класс и какое-то волшебство – в общем, второго такого спортсмена не было.

По субботам и воскресеньям мы отправлялись в парк Ван Кортланд Хайтс и играли в бейсбол. Я играл довольно прилично и конечно же в центре, как ДиМаджио. Если бы не он, я болел бы за «Бруклин Доджерс». Все-таки «Янки» считались командой богатых, все ее игроки были белые, а это противоречило моим представлением о справедливости. И когда «Доджерс» включили в свой состав Джеки Робинсона, я чуть не изменил своим любимцам. Но не сделал этого, ведь у них играл Джо ДиМаджио.

Даже за пределами Америки я продолжал следить за бейсболом. Когда «Доджерс», переехав в Лос-Анджелес, покинули Бруклин, самый демократичный, колоритный и своеобразный из всех пяти административных районов Нью-Йорка, игра каким-то образом изменилась – она потеряла единственную команду, как бы олицетворявшую маленького человека, явного аутсайдера по жизни. Побеждая, «Доджерс» словно показывали тем самым язык «толстым котам», будто публично издавали громкий и неприличный звук в адрес всех толстосумов. Понятно, команда была собственностью и игрушкой какого-то владельца, он мог купить и продать любого игрока, а то и всех разом, и в этом смысле «Доджерс» ничем не отличались от любой другой профессиональной бейсбольной команды – что тогда, что сейчас. Однако было в них что-то *особенное*, какое-то популистское волшебство, выделявшее их и делавшее особенно любимыми среди болельщиков. С переводом команды в Лос-Анджелес волшебство исчезло, испарилось под лучами жаркого калифорнийского солнца, появились новые, все в загаре, игроки с не менее загоревшими болельщиками. Они стали командой, игравшей хорошо, подчас блестяще, но командой, которая никогда больше не выведет на поле таких, как «Герцог» Снайдер, «Карлуша» Фурилло или «Малышка» Рийс. И никогда не будет у нее таких болельщиков, какими были «Фанаты Флетбуша» (во Флетбуше, одном из районов Бруклина, находился оваянный легендами стадион «Доджерс» – «Эббетс-филд»), не имевшие равных себе ни по силе глоток, ни в синхронном реве, от которого дрожали стены близлежащих домов, ни в красноречии – когда, например, перекрывая ор стадиона, вставал флетбушский щеголь и элегантно советовал своему питчеру «воткнуть мяч этому мудиле в ухо» (в данном случае имея в виду моего кумира ДиМаджио). Исчезла та команда, и вместе с нею исчезли ее искристые игроки и безумные болельщики.



Сан-Франциско, 23.09.1990 г.

По сей день я слежу за бейсболом, читая спортивную страницу газеты International Herald Tribune. Когда бываю в Штатах, смотрю бейсбол по телевизору. Но это уже другая игра. Нынешние игроки надевают специальные перчатки, прежде чем взять в руки биту; теперь они носят одну бейсболку при игре в нападении, другую – при игре в защите. Играют они не на траве, а, прости господи, на искусственном покрытии, носящем название «астротурф». Вообще, почти не осталось стадионов с нормальным естественным газоном. Сегодня это считается чуть ли не аномалией.

Конечно, спорт прогрессирует. Нынешние команды Национальной баскетбольной ассоциации играючи расправились бы с командами тех лет. То же относится к футболу. Но не к бейсболу. Мне представляется, что когда-то эта игра требовала большего мастерства и более сильных спортсменов, чем сегодня. Скажете, во мне говорит возраст, ностальгия? Бог с вами! Я точно знаю, что моя команда звезд тех лет во главе, конечно, с Джо ДиМаджио разгромила бы любую нынешнюю в пух и прах.

* * *



На промо-туре моей книги в Денвере, штат Колорадо. 1990 г.

* * *

Когда эта книжка вышла в США, меня отправили в «бук-тур».

Автор за счет издательства посещает разные города страны, выступая по радио и телевидению, давая интервью газетам, встречаясь в книжных магазинах с потенциальными покупателями. Так я оказался в Сан-Франциско. Работа очень напряженная, я отдыхаю в гостиничном номере, раздается телефонный звонок:

– Мистер Познер?

– Да.

И дальше меня приглашают на какой-то званый ужин, от которого я, понятно, отказываюсь за неимением времени. И тут мне говорят:

– Но как же так, мистер Познер, ведь придет Джо ДиМаджио!..

Как? Джо? Сам Джо?! Да пропади все пропадом! Даже если бы ждал меня президент США, я послал бы его подальше.

И вот я захожу в шикарный зал, где собралось некоторое количество весьма утонченных и высокомерных представителей светской элиты, и вдруг понимаю, что никакого Джо ДиМаджио нет и в помине, что меня, говоря просто, поимели. Я лихорадочно начинаю придумывать способ сбежать и вроде даже придумал, когда открывается дверь в зал и входит... Джо. Он необыкновенно элегантен, он двигается в мою сторону грациозной походкой великого атлета и, приблизившись, протягивает руку:

– Джо ДиМаджио.

А я мью что-то нечленораздельное, будто мне снова семь лет и я потерял дар речи.

– Я принес кое-что для вас, – говорит Джо. Он вынимает из кармана пиджака бейсбольный мяч и протягивает его мне. Я беру его и читаю надпись: «Владимиру Познеру, человеку, с которым я всегда хотел познакомиться. Джо ДиМаджио».

Дамы и господа, жизнь удалась!





На передаче Donahue Фил обсуждает мою книжку. Это в немалой степени способствовало тому, что она стала бестселлером. 1990 г.

* * *

Где бы человек ни рос, он открывает мир вокруг и внутри себя. Нет ничего более увлекательного. Но это вдвойне верно для Нью-Йорка. Я уж не говорю о том, что именно в этом городе я впервые влюбился. Мне было четырнадцать, ей хорошо за тридцать. Она была американкой ирландского происхождения, а я всегда имел слабость к ирландцам, но не спрашивайте почему – не знаю. У нее была копна волос цвета красной меди, глаза, словно сапфиры, и таинственноволнующая улыбка ирландской феи. Я считал ее самой красивой и желанной женщиной на свете (после разве что Линды Дарнелл, голливудской актрисы, лишенной всякого таланта, но одаренной такими губами и бюстом, перед которыми не смог устоять киномагнат и самолетостроитель Хоуард Хоукс – что уж оставалось мальчику, вступавшему в период половозрелости). Она владела моими эротическими снами так же основательно, как Джо Луис владел титулом чемпиона мира по боксу в тяжелом весе, нокаутируя всех претендентов из года в год. Но то были тайные сны, о них не знал никто. В реальной жизни я безнадежно любил Мэри, которой хватило деликатности и ума не выставить меня на всеобщее осмеяние. Она была счастлива в браке, но тем не менее приглашала меня в кино, в ресторан, к себе домой на коктейль, обращаясь со мною как со взрослым. Я был горд и находился на седьмом небе, чувствуя себя рыцарем прекрасной дамы... до того дня, когда она пригласила меня на фильм «Моя дражайшая Клементина» – отличный вестерн с Генри Фондой в главной роли и участием... Линды Дарнелл. Вот поистине конфликт интересов! Но за исключением этого единственного случая, моя первая любовь была необыкновенно счастливой, подарила мне бесценный опыт, и до сего дня, вспоминая Мэри, я испытываю сладкое волнение и благодарность.

* * *

И сегодня ничего не изменилось. Вернувшись в Нью-Йорк после тридцативосьмилетнего перерыва по приглашению Фила Донахью, я чуть ли не на второй день отправился навестить

Рут Лоперт, мою крестную мать и вдову ближайшего папиного друга. Она была свидетелем моей юношеской влюбленности, так что совершенно не удивилась вопросу о Мэри. Услышав, что все у нее хорошо, я попросил Рут дать мне ее номер телефона – уж очень не терпелось увидеть ее.

– Давай я сама позвоню ей, – сказала Рут. – Зайдешь завтра, и я тебе все дам.

На следующий день Рут огорошила меня:

– Мэри запретила мне давать тебе ее телефон и попросила передать, что не будет встречаться с тобой.

Я не сразу понял, в чем дело, даже решил, что это связано с политикой. Но когда я с ушмешкой заговорил об этом, Рут выразительно посмотрела на меня и сказала:

– Не будь идиотом.

И в самом деле я был идиотом. Ведь в последний раз я видел Мэри будучи подростком – я помнил молодую, обаятельную, красивую женщину, и Мэри, перешагнувшая уже семидесятилетний рубеж, хотела остаться в моей памяти только такой.

* * *

В Нью-Йорке же я получил свою первую работу – стал разносчиком газет и заодно впервые вкусил то, что принято называть капиталистической конкуренцией. Читателю следует учесть, что в Америке не принято давать детям карманные деньги за так: их нужно зарабатывать. Мне отец платил пятьдесят центов в неделю за то, что я накрывал и убирал со стола и по субботам чистил ботинки всем членам семьи. Но я хотел большего, и для этого следовало найти работу, поскольку на любую просьбу увеличить размер моего еженедельного пособия отец отвечал:

– Деньги не растут на деревьях, их надо зарабатывать.

Вот я и нанялся к Сэму, владельцу магазинчика за углом. Приходилось вставать в полшестого утра, чтобы успеть прийти к шести. В первое мое рабочее утро Сэм показал мне весь маршрут и те дома и квартиры, у которых я должен оставлять номер той или иной газеты. На следующее утро я уже разносил газеты, но под бдительным оком Сэма, желающего убедиться, что я все правильно запомнил. С третьего дня я все должен был сделать сам: появиться у Сэма ровно в шесть, нагрузить здоровенную почтовую сумку газетами, перекинуть ее через плечо – и вперед! К семи требовалось сдать Сэму пустую сумку. Строго говоря, Сэм не нанимал меня, поскольку не платил мне ни цента.

– Запомни, Билли, – сказал он мне в самый первый день (Билл и Билли – уменьшительные формы от Вильяма, а для американского уха Виль– ям и Владимир достаточно схожи), – чтобы ты у меня не стучался к клиентам в двери и не звонил в звонки, понял? Но по праздникам – дело другое. По праздникам ты звони в звонок и барабань в дверь, пока не откроют. И тут выдавай им улыбку на миллион долларов и говори: «Доброе утро, сэр, или мэм, я ваш разносчик, поздравляю вас с праздником. Вот вам ваши газеты». Они дадут тебе на чай, и эти деньги – твои. Сколько дадут – не мое дело, понял?

Я понял. И в Рождество получил больше ста долларов чаевых – в то время это была большая сумма. Я купил себе английский велосипед с тремя скоростями, специальную корзину к нему и уже потом развозил газеты на велосипеде. Развозить и разносить – это принципиально разные вещи.

Однажды я проспал. Примчавшись в киоск, обнаружил, что Сэма нет, он сам пошел разносить газеты. Я дождался его возвращения и стал извиняться:

– Сэм, прости меня, у нас были гости, я поздно лег, что-то случилось с будильником...

Мне ведь было только десять лет. Сэм похлопал меня по плечу и сказал:

– Да не бери ты в голову, Билли! Нет проблем. Но когда в следующий раз проспишь, лучше совсем не приходи. Понимаешь, тут есть паренек, он очень хочет на твое место. Ему эта работа очень нужна, понял?

И вновь я понял. Сэм не стал ругать меня, выговаривать, читать нотации. Но он преподавал мне урок на всю жизнь, урок простой и ясный: либо ты держишься на плаву, либо тонешь. Сэм относился ко мне хорошо, я знаю это совершенно точно, вообще он был добрый человек. Но с той минуты я не сомневался: как бы он ко мне ни относился, если я еще раз опоздаю – прощай моя работа.



Дома в Нью-Йорке. Мне 12 лет



Моя любимая собака Жук

Такие уроки способствуют взрослению человека, и этому же способствовали мои столкновения с расизмом. Одно произошло на Лонг-Айленде, в местечке Миллерплейс. Недалеко от дома, который снимали мои родители летом (в русском понимании это была дача, но в том-то и дело, что дачи не может быть нигде, кроме России, дачный мир – мир совсем другой, далекий от американского), находилась небольшая бензоколонка, принадлежавшая двум братьям. Им было по двадцать с небольшим лет, мне же – лет тринадцать. Я торчал у них целыми днями, болтая о том о сем, запивая болтовню кока-колой. Как-то подъехал негр. Они заправили его машину, помыли ветровое стекло, и он отправился прочь. А они принялись обсуждать этих «ниггеров» (черномазых), которые уж больно стали воображать, и высказывались в том смысле, что с удовольствием пристрелили бы их, представься подходящий случай. Ну, я тут же вступился:

– Вы что это такое говорите?

И выступил с пламенной речью о Декларации Независимости, братстве и равенстве, Аврааме Линкольне и тому подобном, полагая, что потом мы пожмем друг другу руки, а они, стыдливо опустив очи долу, скажут что-нибудь вроде: «Спасибо тебе за то, что прочистил нам мозги, Влади».

Вместо этого они сказали:

– Ты, парень, видно, взасос целуешься с этими черномазыми. Пошел-ка ты на х... отсюда. И не попадайся нам, а то жопу на голову натянем.

Я был потрясен. Ведь мне эти парни очень нравились. Мы же были друзьями. И вдруг оказалось, что какая-то абстрактная чепуха (ведь цвет кожи – это же чепуха!) способна превратить двух симпатичных людей в самых отъявленных сукиных сынов. Я прекрасно понимал, что они не шутят и в самом деле готовы избить тринадцатилетнего пацана до полусмерти. Этот урок я тоже запомнил.



Мы с Жуком дома в Нью-Йорке. 1945 г.

Такой же поворот в отношениях на сто восемьдесят градусов произошел в Америке применительно к русским, хотя это было событие совершенно иного масштаба и с другой подоплекой. Во время войны все обожали Советский Союз, существовали различные организации помощи России, восхищение вызывало то, как русские воюют с Гитлером. Признаки этого встречались на каждом шагу. Я страшно гордился своим русским именем. Более того, я так хотел, чтобы меня принимали за русского, что ради этого однажды пошел на обман. Летом 1942 или 1943 года я находился в детском летнем лагере в Кетскильских горах, когда туда с визитом приехала делегация советских женщин. В течение всего лета я врал ребятам и взрослым, что я – русский и, разумеется, говорю по-русски. И вдруг – на тебе! Прибыли мои «соотечественники», а я по-русски ни бум-бум. Я спрятался под своей койкой, но меня нашли и вытащили. Потом, крепко держа за руки, повели знакомить с ними. Меня, красу и гордость летнего лагеря «Ханкус-Панкус» (даю слово, название истинное) – единственного лагеря во всей Америке, способного похвастаться тем, что среди детей есть один всамделишный русский. Благодаря папе и его русским друзьям я знал несколько слов, типа «да», «нет», «спасибо», «до свидания» и «пожалуйста». Каким образом состоялось наше знакомство при таком словарном запасе – загадка. Думаю, все объясняется тактичностью этих женщин. В этот же день в честь советских гостей устроили концерт, который должен был открываться песней «Полюшко-поле...». В Америке эту песню знали из-за популярности Краснознаменного ансамбля Красной Армии, я же слушал ее десятки, если не сотни раз на патефоне моей тети Лёли. К сожалению, слов песни я не помнил, кроме первых двух, которые, собственно, и составляют ее название. Угадайте с трех раз, кому было поручено солировать по-русски (хор подхватывал на английском языке)? У меня не было проблем во время репетиций: я начинал со слов «Полюшко-поле...» и дальше выдавал различные звуко сочетания, которые все принимали за русские. И все мне сходило с рук, пока не появились эти женщины! Я был бессилен изменить что-либо. Уж лучше бы разгневанный Зевс метнул молнией и уничтожил меня. Но Зевсу было угодно послушать мое пение – и я спел нечто совершенно невообразимое, полнейшую абракадабру, выводя дрожащим дискантом «Полюшко, поле...» и мечтая провалиться сквозь землю. И кто спас меня?

Спасли те самые советские женщины, которых я так боялся. Он говорили всем, что я замечательно пел, ласково трепали меня по головке и нежно улыбались – а я пишу об этом спустя сорок пять лет и поныне краснею от мучительного стыда.

Словом, в те годы американцы относились к СССР как нельзя лучше. Например, о маршале Тимошенко шутили, что никакой он не русский, а американец ирландского происхождения, и зовут его Тим О'Шенко. Все понимали, что именно русские дерутся не на жизнь, а на смерть с фашистами, именно Красная Армия и русский народ переломили Гитлеру хребет. Тогда это открыто признавали такие люди, как Рузвельт, Черчилль и многие другие. Сегодня удобно об этом не помнить. Об этом не говорится в американских учебниках. Это такое же извращение истории, какое практиковалось в Советском Союзе и вызывало праведное возмущение в мире. В результате многие американцы, если не большинство, по сей день не знают, какой народ в самом деле победил в войне против нацизма. Говоря об этом, я вовсе не хочу уменьшить вклад Соединенных Штатов, роль ленд-лиза и прочего. Но именно нашей стране пришлось вынести основную тяжесть гитлеровской военной машины на своих плечах, именно она нанесла ей смертельный удар, это даже не вопрос. И в те дни американцы *знали* это, ценили, что проявлялось в их отношении к Советскому Союзу.

* * *

Мало что изменилось. В американских школьных учебниках не сказано ничего о роли СССР в победе над Гитлером, а в нынешних русских учебниках истории реальная помощь Соединенных Штатов обходится молчанием. На ум приходят слова одного английского историка, писавшего, что «история – это прошлая политика, а политика – это настоящая история». Яркое подтверждение тому – то, как освещается сегодня сталинская эпоха и репрессии. После «развенчания культа личности И.В. Сталина» на XX съезде КПСС бывшего «отца народов» стали подавать не только как величайшего злодея (вполне справедливо), не только как маньяка (для чего имелись основания), но и как полуграмотного и слабоумного военачальника, руководившего операциями не по картам, а по глобусу (что вряд ли соответствует действительности). В течение двадцати с небольшим лет после снятия Хрущева в 1964 году и вплоть до горбачевской перестройки образ Сталина как в СМИ, так и в школьных пособиях стал «очищаться» от темных красок: он вновь назывался вдохновителем победы в Великой Отечественной войне, а что до учиненных им репрессий, то эта тема вовсе исчезла. Те же, кто упорно о них напоминал – в первую очередь Александр Исаевич Солженицын, – тоже исчезли: кого отправили в ГУЛАГ, кого в психиатрические лечебницы, кого, предварительно лишив советского гражданства, выкинули из страны. Затем наступили времена Горбачева и Ельцина, а с ними пришла очередная переоценка. Как мне представляется, «мотором» этого движения был Александр Николаевич Яковлев, с которым я познакомился во время его «канадской ссылки». Это было в 1978 году, когда после «проверочных» выездов в Венгрию и Финляндию меня выпустили аж в Торонто для участия в местной телевизионной программе. Я уже собирался обратно в Москву, но получил сообщение, что меня вызывает в Оттаву советский посол Яковлев. За мной прислали машину (чего я никак не ожидал). Я не помню, о чем беседовал со мной Александр Николаевич, но он совершенно точно произвел на меня сильнейшее впечатление – не только умом, но манерой разговаривать, поведением, простотой в общении. Он абсолютно не походил на тех высокопоставленных советских деятелей, которых я встречал прежде (да и после тоже). Мы время от времени виделись потом с Яковлевым – вплоть до его смерти, и пожалуй, главным, чем он подкупал меня, было спокойное чувство собственного достоинства, чаще всего встречаемое у людей деревенских – какое-то очень естественное, органичное. И как я уже упоминал – ум. Помню, как однажды Александр Николаевич «сделал» меня словно ребенка...

Это было году в восемьдесят восьмом. Я тогда завершил работу над документальным фильмом «Свидетель», главным (и единственным) действующим лицом которого являлся личный переводчик Сталина Валентин Михайлович Бережков. Фильм был для того времени убойный, поскольку Бережков рассказывал в нем о дотоле абсолютно закрытых вещах (например, впервые по советскому телевидению мы показали архивные документальные кадры встречи советских и фашистских войск в Польше, когда они совместным парадом прошли мимо трибуны, на которой стояли офицеры вермахта и Красной Армии: первые приветствовали марширующих выброшенными вперед руками и криками «хайль Гитлер!», а вторые, приложив руку к фуражкам, – громкими «ура!»). В одном из эпизодов Бережков поведал о подписании тайного протокола к советско-германскому пакту 1939 года, оговаривающего «сферу интересов» СССР в отношении, в частности, Латвии, Литвы и Эстонии. Советское руководство всегда отрицало существование этого протокола, а тут об этом заявил переводчик Сталина. Гостелерадио отправил фильм в отдел пропаганды ЦК КПСС, возглавляемый тогда Яковлевым. Вскоре тот пригласил меня на встречу. Разговор состоялся примерно такой:

– Владимир Владимирович, очень мне понравился ваш фильм.

– Спасибо, Александр Николаевич.

– Но есть у меня один вопрос. Присутствовал ли Бережков на подписании советско-германского пакта?

– Нет, там был другой переводчик, Павлов.

– Гм. Но ведь ваш фильм называется «Свидетель», не так ли?

– Ну да.

– Тогда давайте говорить только о том, свидетелем чего являлся ваш герой. Так будет честнее. И потому разговор о пакте и о протоколе я попрошу вас убрать...

Но именно Александр Николаевич сыграл ключевую роль в признании Советским Союзом подписания тайных протоколов, именно он добился предания гласности преступлений Сталина и его окружения, и многие, в том числе и автор этих строк, почувствовали облегчение от того, что наконец-то Сталину и советской системе даны пусть жесткие, но честные оценки. Однако зря радовались. С приходом к власти В.В. Путина произошло очередное толкование «истории»: Сталина и его правление «реабилитировали», и ныне признается, что Сталин, хотя и допустил некоторые злоупотребления, руководствовался требованием времени и, безусловно, принес гораздо больше пользы, чем вреда... Злодеяния, грубейшие просчеты, приведшие к гибели цвет нации, – все это тщательно убрано из учебников, из телевизионных программ федеральных каналов. Сталин, поучают нас, был прекрасным менеджером. Так-то.

Хочется излить свой праведный гнев на тех, кто простиитурует звание историка, желая тем самым угодить власти. Но зачем? Это было и это будет. И в конечном счете время все ставит на свои места. Жаль только, что приходится платить за это уж очень высокую цену...



Папа, мама и Павлик. Берлин, 1949 г.

* * *

Потребовалось чуть более одного года, чтобы произошел полнейший поворот в головах. К 1947 году в школе имени Стайвесанта меня уже били за мои просоветские высказывания. Все изменилось в одночасье. В американцах глубоко засело до времени спящее чувство антикоммунизма, оно восходило к двадцатым и тридцатым годам: надо было только чуть пошевелить его, и оно тут же зарычало во всю свою глотку. Чувство это было скорее иррациональным, оно основывалось на «красном страхе» прошлых лет. Если сегодня заговорить о рейдах Пальмера, окажется, что девяносто девять процентов американцев не имеют о них ни малейшего представления. Тем не менее страх, внушенный американцам в двадцатых и тридцатых годах, имел прямое отношение к тому, как быстро и легко сумели добиться радикальных перемен те, кто имел на то свои интересы, кто стремился надеть мантию распадавшейся на глазах Британской империи, кому необходимо было оправдать распространение американской экономической и

военной мощи во всем мире. Все получилось у них наилучшим образом. Надо сказать, что в этом помог им Сталин. Его поведение – в частности, сокрытие подлинных потерь и разрушений, понесенных СССР в результате войны, не говоря о проведенных по его указке репрессиях против целых народов, – чрезвычайно облегчало задачу воссоздания образа Красного Пугала.

Есть несомненная ирония в том, что свою лепту в это дело внесло и международное левое движение.



Я с Павликом на ступеньках нашего нью-йоркского дома. 1948 г.

После войны моральный авторитет Советского Союза и его лидера Иосифа Сталина был необычайно высок. Ведь советские люди победили Гитлера, а Сталин в одиночку, казалось, почти не имея никаких на то шансов, уничтожил самую могучую военную машину в истории человечества. Еще не всплыла правда о его тяжелых ошибках, обошедшихся советскому народу миллионами потерянных жизней, – в частности, о его отказе поверить информации как советских разведчиков, так и Уинстона Черчилля о точной дате начала реализации плана «Барбаросса», о его отказе дать приказ о приведении Красной Армии в полную боевую готовность. Не знал мир и о страшных преступлениях, совершенных в СССР под его руководством между 1929 и 1938 годами. На самом деле никакого секрета не было, но для левых, которым пришлось долго терпеть унижения и преследования за свои «красные» убеждения, советская победа над нацистской Германией стала, можно сказать, личным торжеством и триумфом. Эта

победа означала, что они правы были, когда стояли твердо, не меняли своих убеждений, не желали ни видеть, ни слышать ничего, что могло бы противоречить им. В их числе был и мой отец, хотя он и не являлся членом какой-либо коммунистической партии. Партии эти, будь то американская, французская, итальянская или британская, верно следовали генеральной линии КПСС, несмотря на действия и заявления Сталина. Ясно, что это подливало масло в ярко разгоравшийся костер теории всемирного коммунистического заговора, в первую очередь в США.

К 1947 году уровень антисоветизма достиг такой отметки, что я почувствовал себя неуютно и начал мечтать о том, чтобы уехать из Америки. Я не особенно переживал изза этого, ведь я понимал, что я – не американец. Это понимание достигло особенной ясности благодаря дружбе с Юрием Шиганским, русским парнем моего возраста, сыном советского дипломата при ООН. В те годы советским дипломатам очень мало платили, естественно, они снимали плохонькие квартиры в неприглядных районах НьюЙорка и жили весьма скромно. Отец мой всячески стремился к дружбе с этими людьми, часто приглашал их в гости в нашу квартиру на Десятой стрит – даже по завышенным представлениям Нью-Йорка, это был роскошный район. Собственно, так я и познакомился с Юрой. Для меня он олицетворял все то замечательное, что я знал о Советском Союзе, то, о чем рассказывал мне отец. Будь Юра девушкой, я сказал бы, что был в него влюблен. Благодаря ему я смог посетить советскую школу в Нью-Йорке и сравнить уважительное отношение советских учеников к своим учителям с абсолютно наплевательским – моих соклассников по Стайвесанту. По мере ухудшения американо-советских отношений банды американских подростков стали поджидать своих советских сверстников перед школой, чтобы затеять драку. Два или три раза я бился конечно же на стороне русских, при этом во всю глотку матерился (английский язык весьма экспрессивен в этом отношении), замечая, с каким удивлением смотрели на меня американские ребята («Ты же американец, какого х... ты на их стороне?»); затем их удивление переходило в ненависть («сраный коммуняка-предатель!»). В свою очередь свирепел я, ненавидя все и всех. Да, я был готов покинуть Америку.

Мы уехали в конце 1948 года. Думаю, жизнь моя еще более усложнилась бы, оттяни мы отъезд. Ведь худшее для США было впереди. Еще не наступило время маккартизма, американцы еще не могли представить себе, что появится Комитет по расследованию антиамериканской деятельности. Понятно, ФБР следило за нами в четыре глаза, наш телефон прослушивался. Но в этом не было ничего необычного.

Незадолго до нашего отъезда отцу пришлось уйти с работы. Как он рассказал мне несколько лет спустя, его вызвал босс, который, кстати говоря, очень хорошо относился к нему, и сообщил, что в нынешней обстановке он не может держать у себя советского гражданина. «Откажись от этого гражданства, подай на американское, – я удвою твое жалованье. Иначе должен с тобой расстаться».

Отец отказался от пятидесяти тысяч долларов в год. Он отказался бы и от пяти миллионов. Он не торговал своими принципами – никогда. Ни за какие деньги. И потерял работу.

* * *

Когда папины родители разошлись, его отец уехал в Литовскую Республику, в Каунас, где основал стекольную фабрику, существующую, насколько мне известно, по сей день. Он стал гражданином Литвы.

Вскоре после того как СССР, воспользовавшись тайным протоколом к Советско-Германскому пакту 1939 года, аннексировал балтийские республики, был опубликован указ Верховного Совета СССР, гласивший, что любой гражданин Латвии, Литвы или Эстонии, а также их взрослые дети, вне зависимости от места проживания, имеют право на немедленное получение советского гражданства. Мой отец немедленно отправился в Генеральное

консульство СССР в Нью-Йорке и получил советский паспорт. Точнее, не паспорт, дававший право на въезд в Советский Союз, а вид на жительство. Так он стал советским гражданином.

* * *

Как только отец остался без работы, мы немедленно переехали в куда менее роскошную квартиру на Западной Двенадцатой стрит, меня же отправили жить к Марии-Луисе Фалкон, испанке, воевавшей против Франко в гражданской войне. Она близко дружила с моими родителями, которые просили ее приютить меня, поскольку новая квартира была слишком тесной для них, меня и моего брата Павла, родившегося в 1945 году. Когда я жил у Марии-Луисы, я попал в весьма пикантное положение. В те годы еще не существовало в США настоящей порноиндустрии. Продавались так называемые «девичьи» журналы, в которых печатались фотографии полураздетых женщин в весьма красноречивых позах. Кроме того, можно было при некоторой расторопности достать «неприличные» фото, но на газетных стендах не встречалось ничего даже отдаленно похожего на то, что продается там сегодня. Мне шел четырнадцатый год, я начал интересоваться сексом – и стал покупать журнал, название которого давно забыл, помню только, что стоил он полдоллара (немало для того времени) и изобилует фотографиями девиц в трусиках, лифчиках и, как правило, в шелковых чулочках и на высоких каблуках. О позах говорить не буду. Понятно, я прятал эти журналы от чужих глаз – читал их на ночь, а потом совал под кровать. Однажды, вернувшись из школы, я обнаружил аккуратную стопку своих журналов, стоявшую у изголовья кровати. Оказалось, что Мария-Луиса вызвала уборщицу, и та вынула их из «тайника». Я чуть не сгорел со стыда – и перестал покупать эти журналы.

Мы уехали из Америки потому, что больше не могли там жить. У отца не было ни работы, ни будущего в Америке, он тревожился о том, что ждет его жену, детей. Он хотел в Советский Союз, что не удивительно, учитывая его идеалы и иллюзии. Сегодня право человека эмигрировать, свободно ездить куда хочется – модная тема. Тема, мною думанная-передуманная. Моя жизнь самым драматическим образом менялась и ломалась из-за того, что мне было отказано в праве выезда, из-за того, что я был отнесен к категории так называемых «невъездных», и все это конечно же повлияло на образ моих мыслей. Я ничуть не сомневаюсь в том, что право на свободное передвижение есть одно из основных прав человека. Любой, кто захочет покинуть пределы своей страны, на время ли, на всегда ли, рожден с этим правом – вне зависимости от законов страны проживания. Вместе с тем я всегда считал, что покинуть родину человек может лишь по одной, по-настоящему убедительной причине: из-за невозможности более жить там. Либо твоя жизнь в опасности и что-то угрожает благополучию твоих близких, любимых, либо жизнь так удушлива, что нет сил далее терпеть это. Человек уезжает не потому, что там молочные реки, не потому, что там больше товаров лучшего качества, не потому, что хочется заработать миллион. Человек уезжает потому, что больше не может жить здесь.

Несомненно, решение моих родителей напрямую было связано с изменением общественного климата в Америке, с началом антикоммунистической истерии. Я часто задавался вопросом: как объяснить произошедшее понятиями человеческими? Разумеется, пугающая способность превратиться из добрых, порядочных людей в нечто совершенно иное не является сугубо американской. С течением времени я стал понимать, что это обычная человеческая слабость, ущербность, и веками разные структуры власти пользовались ими для достижения своих целей. Как расизм и антисемитизм, антикоммунизм абстрактен, теоретичен. Часто бывает так, что самые отъявленные антисемиты никогда в жизни не встречали ни одного еврея и не имеют ни малейшего представления о еврейской культуре, истории, об иудаизме. Сколько американцев когда-либо встретили хотя бы одного коммуниста – уж не говорю, близко знали?

Лепить образ врага – старая-престарая, грязная-прегрязная игра. Она сводится к тому, чтобы лишить врага даже намека на человечность, чтобы в итоге он не воспринимался как человек. Добившись этого, несложно вызвать в людях страх, ненависть, желание убивать. Так, в частности, готовят солдат к войне. Мы стали свидетелями подобного подхода во многих странах мира.

Каковы корни предрассудков? Пожалуй, никому пока не удавалось ответить на этот вопрос исчерпывающе. Как бы далеко в прошлое мы ни вглядывались, мы не находим человеческого общества, лишённого предрассудков. Психологи утверждают, что характер человека в основном формируется к пяти годам. Если наши родители, наше общественное окружение внушают нам, что люди с черной кожей, католики и, скажем, велосипедисты туповатые и жадные, дурно пахнущие, предатели и недочеловеки, мы воспримем это как истину. Усвоенное с молоком матери, это сформирует нашу психику с такой же определенностью, с какой молоко матери формирует наше тело. Это станет *верой*: «Велосипедисты – не люди». Преодолеть подобное убеждение крайне тяжело. Двадцатилетнего же сложно убедить в такой истине. Взрослый человек скажет: «Да, некоторые велосипедисты и в самом деле мало похожи на людей», другие же – «замечательные ребята». Но в любом случае объяснение не связано с тем, что они – велосипедисты. Глубоко сидящие предрассудки идут от ценностей, внушенных в ранней молодости. Предрассудки не имеют отношения к логике, но имеют непосредственное отношение к незнанию.

Как биолог по образованию я понимаю, что страх – это рефлекс, древнейший рефлекс самосохранения. Не знают чувства страха только люди психологически ущербные. Страх – жизненно важная биологическая реакция. Но это и нечто такое, чем можно манипулировать, пользоваться. Примеров тому – тьма.

На Западе некоторые заклеили меня как пропагандиста. Этот ярлык тоже отливает страхом и требует некоторого рассмотрения. Я советский гражданин и, хотя критически отношусь ко многим явлениям жизни моей страны, сторонник социализма. Само по себе это не очень пугает в Америке тех, кто хотел бы внушить американцам боязнь Советского Союза и ненависть к нему. Но проблема в том, что ими придуман плоский, негативный образ стереотипного «советского», который должен был внушать страх и вызывать ненависть. Советский человек расчетлив, лишен эмоций, груб, жесток, не достоин доверия и т.д. и т.п. Беда в том, что я не вписываюсь в этот образ. И отсюда стремление некоторых во что бы то ни стало «сорвать маску» с меня.

Сразу после моего появления в той или иной теле- или радиопрограмме в США слово дается «эксперту», чтобы он проанализировал меня и растолковал бедным, наивным зрителям, как я подготовлен, какова природа моей эффективности, почему нельзя мне верить. Чаще всего это люди профессорского облика, они тоном сдержанным и веским объясняют, что я крайне опасен из-за сочетания факторов, как то: знание языка, мастерское владение психологическими приемами, дар коммуникации. Все это совершенно поразительно и на самом деле отражает некоторую растерянность, которую испытывают авторы антисоветского стереотипа. Они более всего опасаются, что, узрев во мне нормального, всамделишного, искреннего человека, искреннего *советского* человека, американцы засомневаются в справедливости стереотипа и даже – упаси боже – в той политике, которая из него следует, а именно: антикоммунизм, гигантский оборонный бюджет, сама холодная война.

* * *

Позвольте обратить ваше внимание на этот пассаж. Вы видите, с какой настойчивостью (чтобы не сказать «настырностью») я заявляю о том, что я советский человек. Перечитав этот отрывок, я сам поразился ему, задумался, попытался понять – что на самом

деле скрывалось за этими словами? И понял. Скрывались неуверенность, сомнения в том, кто я на самом деле. Я все еще доказывал всем – но прежде всего самому себе, что я «свой», русский, советский. Я кричал об этом, но как бы ни старался, не мог заглушить тихий, твердый, ироничный внутренний голос, говоривший мне, что никакой я не русский, никакой я не советский, а так, некое недоразумение, которое придумало себе роль, ухватилось за нее и держится из последних сил.

* * *

На самом деле я сам был поражен своей популярностью в Соединенных Штатах, своей способностью «достучаться» до рядового американца. Ведь хотя я и вырос в Нью-Йорке, но уехал оттуда в пятнадцать и возвратился лишь *тридцать восемь лет* спустя. Да, я свободно говорю на языке, да, я всегда старался быть в курсе жизни страны моего детства и моей юности. Но этого мало, чтобы стать настолько влиятельным. Словом, я задавался этим вопросом множество раз. Ответ же пришел в процессе работы над этой книгой: моя эффективность связана прежде всего с тем, как я отношусь к Америке. Все дело в том, что Америка – это часть меня, того, кто я есть и во что я верю.

Одним из моих любимых мест в Нью-Йорке был стадион «Эббетс-филд». Но он запомнился мне не только да, пожалуй, и не столько тем, что на нем играли «Бруклин Доджерс», а благодаря тому, что в 1944 году я, среди многих, слушал там выступление президента Рузвельта во время его последней предвыборной кампании. Республиканская партия ненавидела Рузвельта-демократа, Рузвельта-противника монополий, Рузвельта, выигравшего выборы три раза подряд и теперь баллотирующегося в четвертый, Рузвельта, обожаемого американским народом. У него было лишь одно слабое место: здоровье. Заболевший полиомиелитом в молодом возрасте, он не мог ходить. Чтобы стоять, он надевал на ноги специальные металлические щитки, передвигался же в инвалидной коляске. В тот раз республиканцы решили сделать упор именно на это: стар, мол, Рузвельт, немогущ, не может управлять страной. В ответ он проехал по улицам Нью-Йорка стоя, с непокрытой головой в открытом кабриолете под проливным дождем. Авеню и стрит были запружены сотнями тысяч нью-йоркцев, которые встречали его громовыми аплодисментами и восторженным ревом. И вот он прибыл на стадион. Он стоял у трибуны посередине поля в своей, ставшей знаменитой, мантии, освещенный сотнями мощных арочных огней, в свете которых потоки дождя превращались в переливающиеся полупрозрачные театральные занавеси. Я не помню, что он говорил. Но помню, как мы орали до хрипоты, помню чувство гордости от того, что я здесь, присутствую при сем, вижу его. Много лет спустя я понял, что Рузвельт принадлежал и принадлежит *моей* Америке, той Америке, которая и составляет часть меня. Америка Тома Пейна, Томаса Джефферсона и Авраама Линкольна. Америка великих песен, прославивших Джона Генри, Джо Хилла, Джесси Джеймса, Франки и Джонни, и сотен, и сотен других. Америка тех, кто эти песни пел и сочинял – Вуди Гатри, Ледбелли, Пита Сигера, Билли Холидей, Бесси Смит. Америка Декларации Независимости и бостонского чаепития, истоков великой демократической традиции, родившейся здесь и, несмотря на неблагоприятные условия, выжившей. Повторяю: выжившей – не победившей.

Тогда я этого не понимал, но сегодня знаю, что, вне всякого сомнения, ФДР – Франклин Делано Рузвельт – хотя и являлся патрицием, был плоть от плоти этого американского демократического наследия, той, настоящей Америки. Трудно не американцу, человеку, не прожившему в Америке много лет, полностью это почувствовать и понять. Такого человека вряд ли взволнуют до появления гусиной кожи слова Пейна: «Это времена, которые испытывают человеческие души». Либо вы часть этого, либо нет. Я – часть.

На «Эббетс-филд» состоялось последнее публичное выступление Рузвельта. То, что я был его свидетелем, – чистое везение. Почему-то мне кажется, что я тогда видел и Фалу, зна-

менитого скотч-терьера президента, сидящего рядом с ним в автомобиле. Но, возможно, это лишь игра моего воображения. Популярность Рузвельта была поразительной. Его и в самом деле любил народ, именно любил, а не боготворил. Республиканцы шли на все, пытаясь подорвать такую популярность. Вот один разительный пример: во время войны Рузвельт однажды навещал войска на тихоокеанском фронте в сопровождении своего неразлучного друга Фалы. Как-то случилось, что после визита Рузвельт отплыл от острова, по ошибке оставив любимого пса на берегу. Обнаружив это, он приказал капитану корабля, или адмиралу, развернуть судно и вернуться за Фалой. Республиканцы, пронюхав об этом, устроили целую истерику – мол, президент тратит деньги налогоплательщиков на то, чтобы прокатить на военном корабле собаку. Я помню, как Рузвельт ответил на их выпады по радио, проронив с восхитительным презрением: «Не удовлетворяясь нападками и очернительством в мой адрес, мои оппоненты теперь нападают на мою собачку Фалу».

Надо ли говорить о том, что он был великим оратором и великолепно владел искусством оборачивать подобные ситуации в свою пользу. После его слов я стал относиться к Фале почти так же, как к самому Рузвельту.

* * *

Когда Рузвельт выдвинул свою кандидатуру на третий президентский срок, он нарушил одну из главных американских заповедей, которая восходит к правлению первого президента США Джорджа Вашингтона. Он был избран единогласно Колледжем избирателей в 1789 году, затем снова единогласно в 1792. Когда же подошло время третьего срока, Вашингтон категорически отказался от него, сказав (хотя это не доказано), что мы не для того освободились от британской короны, чтобы создавать собственную монархию. Это было в 1796 году. И вплоть до Франклина Рузвельта ни один американский президент не посмел нарушить заложенный Вашингтоном принцип. Когда Рузвельт баллотировался на третий срок в 1940 году, он оправдал свое решение началом Второй мировой войны. Решив баллотироваться на четвертый срок в 1944 году, он вновь сослался на войну. В 1947 году была предложена поправка к Конституции США, согласно которой человек мог находиться на посту президента не более двух сроков (восьми лет). Эту поправку приняли в 1951 году.

Обращаю ваше внимание на то, что в течение почти ста пятидесяти лет все президенты США сами ограничивали свое пребывание во власти, не решаясь нарушить наследие Вашингтона. Я пишу об этом в связи вот с чем. Конституция РФ изначально ограничивала пребывание у власти двумя президентскими сроками подряд. Это, конечно, лазейка. Но есть и вторая: если поставить вопрос о третьем подряд сроке на референдуме, то в случае победы третий срок обеспечен и конституция соблюдена. Я прекрасно помню момент, когда президент Путин объявил, что не будет баллотироваться на третий срок, не собираясь менять конституцию «под себя». Помню я и то, с каким снисходительным смехом буквально все наши политологи и журналисты – как правых, так и левых убеждений – встретили эти слова. Мол, дымовая завеса, хитрый политический ход и прочее, и прочее, и прочее. Однако речь не о них, а о Путине: поступив так, он, возможно, заложил начало традиции, которая крайне осложнит в будущем любую попытку президента задержаться у власти.

Я не сравниваю Путина с Вашингтоном, но все же...

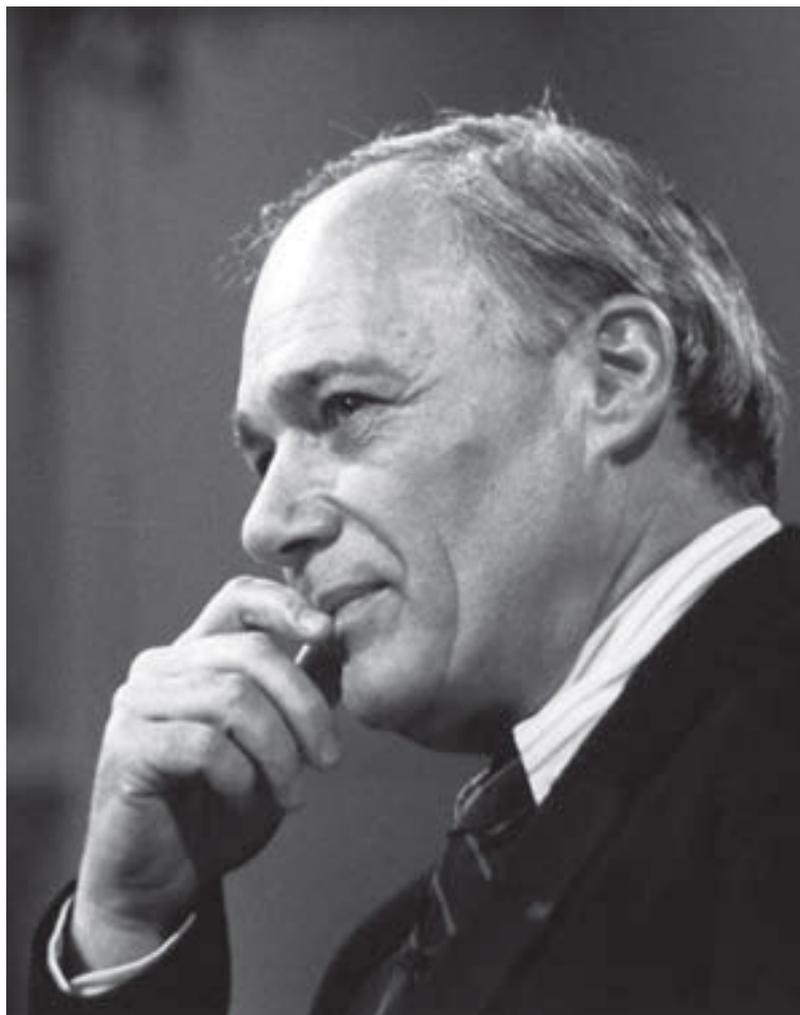
* * *

Есть, однако, и другая Америка. Не так давно мне встретился пример в лице человека, который по иронии судьбы носит такую же фамилию, как я: Виктор Познер. Он – богатейший бизнесмен. Согласно журналу Fortune, в 1984 году Познер заработал денег больше, чем кто-

либо другой в Америке. Недавно он был привлечен к суду за то, что не уплатил налоги с суммы в один миллион триста тысяч долларов. Ему грозило сорок лет тюремного заключения. Но как выяснилось, он не проведет за решеткой ни одного дня. Ему придется лишь уплатить надлежащий налог да выдать несколько миллионов долларов фонду помощи бездомным. Кроме того, ему придется еженедельно выделять несколько часов на благотворительную деятельность.

Не будь Виктор Познер богатым, будь он рядовым американцем, он очутился бы за решеткой. Но в сегодняшней Америке – в гораздо большей степени, чем во вчерашней, – некоторые люди, как бы сказал классик, «равнее других», и эти люди крайне редко попадают в тюрьму. Для них существуют особые правила. Все, о чем заявлено в Декларации Независимости, относится прежде всего к ним: к *их* праву на жизнь, к *их* праву на свободу, к *их* праву на счастье – и потому лишь, что в отличие от «Джо-полдюжины пива», как в Америке прозвали рядового человека, у *них* есть деньги, большие деньги.

Я горячий поклонник Декларации Независимости, это великий документ. Великий как по тому, что в нем говорится, так и по тому, когда это было сказано. Ведь Декларация была написана в последней четверти восемнадцатого века, когда миром правили короли и королевы, цари, императоры, шахи, паши и падишахи. И в это время Америка заявила, что все люди равны, что всем даны неотъемлемые права. Тогда это было уму непостижимо. Но вдобавок эти слова стали фундаментом для возведения реального общества, для построения судебной системы. Однако если непредвзято взглянуть на Америку сегодня, вряд ли можно положить руку на сердце говорить, что этих великих принципов придерживаются в полной мере. Декларация все еще существует, и большинство американцев верят в то, что все люди имеют равные права от рождения. Но реальности – общественная, политическая, экономическая – исключают возможность для всех американцев пользоваться этими правами в равной мере. В зависимости от того, в какой вы родились семье, в зависимости от положения семьи, ее достатка, вам будет либо проще, либо несравненно труднее воспользоваться своими неотъемлемыми правами. Американское выражение «родиться не на той стороне дороги» лишь подтверждает мою мысль. Если вы родились американским индейцем, мексиканцем, пуэрториканцем или «черным» в семье, где кроме вас имеется еще выводок детей, если отец ваш наркоман, а мама проститутка, если сызмальства вас окружают наркотики и преступность – а таковы обстоятельства жизни буквально миллионов американских детей, – ваши шансы вырваться из всего этого и добиться чего-либо в жизни близки к нулю. Тому, кто хотел бы оспорить это утверждение, я задам лишь один вопрос: вы согласились бы добровольно на то, чтобы ваш ребенок вырос в гетто? Разумеется, нет – и не только потому, что он испытал бы всякого рода трудности. Помимо прочего, ему было бы отказано в равных с другими возможностях учиться, работать, просто жить. Что означает тот факт, что пятнадцать процентов населения – тридцать миллионов человек – живут в Америке за официальной чертой бедности и двадцать процентов всех детей и подростков относятся к этой категории? Как совместить это со словами Декларации Независимости, со словами о равноправии? Напрашивается неопровержимый вывод: в самом фундаментальном смысле Америка – несправедливое общество. Общество, создавшее невиданное богатство, но терпящее крайнюю нищету и страдания. Всем понятно, что если бы богатство в Америке распределялось чуть иначе, можно было бы обеспечить каждого американца приемлемым, человеческим уровнем жизни. У каждого была бы крыша над головой, никто не голодал бы, каждому были бы доступны образование и достойные условия.



Фотосессия для обложки моей книги. 1989 год.

* * *

Смешно читать это, правда? Прошу снисхождения. Ведь когда писалась эта книжка, еще существовал Советский Союз, я еще надеялся, что перестройка приведет к появлению того социалистического государства, о котором я мечтал, государства, в котором не то что не будет богатых, а не станет бедных, государства, в котором не все измеряется деньгами. Я не мог знать, что семьдесят с небольшим лет советской власти почти ничего не изменили в людях, что жажда наживы, искусственно сдерживаемая столько десятилетий, вырвется с такой силой, что сметет все и вся.

Я уехал из одной страны в 1991 году, а в 1997 -м вернулся в совершенно другую.

*Буквально на днях я прочитал в газете *The New York Times*, что совокупное богатство одного процента наиболее имущих американцев равно совокупному богатству девяноста процентов наиболее бедных. Это плохо кончится.*

Приблизительно то же самое произошло и происходит в России: разрыв между наиболее богатыми и наиболее бедными стремительно растет – и последствия очевидны. Все-таки прав был старина Карл Маркс, когда говорил, что ради прибыли капиталист пойдет на преступление, а ради любой прибыли – пойдет на любое.

Признаюсь: потеря веры в социализм не сделала из меня поклонника капитализма. Ничем не сдерживаемая жажда денег отвратительна во всех своих проявлениях и губительна для

общества. Понятно, что капитализм, давно существующий во многих странах Запада, обрел более цивилизованные черты, но суть его не изменилась. Капитализм российский довольно отвратителен, замешан на крови, лжи, коррупции и прочих «прелестях», но он стремительно обретает человеческие черты (гражданин Шариков?). Богатые и сверхбогатые отправляют своих детей учиться в элитарные школы Великобритании, Швейцарии и иных стран, где им предстоит обрести вместе со знаниями лоск и хорошие манеры. Что с того?

Помните анекдот времен Второй мировой войны о том, как Гитлер поручил группе ученых добиться того, чтобы можно было питаться говном. Через полгода он вызвал их и спросил, каковы успехи.

– Успехи хорошие, – ответили они. – Правда, все еще воняет, но на хлеб уже мажется. Вот и капитализм, что американский, что русский: первый гораздо лучше мажется, но воняют они одинаково. Нельзя считать нормой, когда в богатейшей стране еле-еле живут, при этом голодая и не имея крыши над головой, миллионы ее сограждан. Нет ничего более отвратительного, чем разного рода «рублевки», окруженные морем немущих. И это, господа, не коммунистическая точка зрения. Или вы полагаете, что Радищев был коммунистом, когда писал: «Я глянул окрест себя, и душа моя уязвлена страданиями человечества стала»? И еще – о так называемых «новых русских». Предлагаю забыть это определение или как минимум отложить его использование, потому что оно вводит людей в заблуждение. Никаких «новых русских» нет: есть вполне традиционные работники обкомов и райкомов КПСС, ЦК и райкомов комсомола, люди и тогда преуспевшие из-за своих способностей, цепкости, связей. Нет ничего удивительного в том, что и в новых условиях именно они преуспели.

Может быть, появятся реальные новые русские, люди, рожденные и выросшие в условиях свободного и демократического общества и вследствие этого имеющие совершенно иной менталитет?

* * *

Во всем этом просматривается глубокий этический и философский конфликт. Невозможно искренне заявить о равенстве всех людей и об их привилегии пользоваться «некоторыми неотъемлемыми правами» и в то же время допускать постоянные нарушения этого равенства и этих прав. Нельзя «поженить», с одной стороны, экономику, основанную на выживании сильнейших, и с другой, эгалитарную демократическую философию Томаса Джефферсона. Этот конфликт неразрешим в капиталистическом обществе.

Благотворительность, бесплатный суп для бедных и подобные вещи не решат вопроса. Более того, они унижают тех, на кого направлена забота. Я не хочу стоять в очереди за бесплатной тарелкой супа. Я хочу пользоваться плодами *своего* труда. Разумеется, некоторым удастся прорваться – тем, кому повезло, людям исключительного таланта, силы воли, целеустремленности. Но цель должна быть иной, необходимо такое общество, которое работает на обыкновенного, рядового человека. И у любого, кого волнует американская традиция, великие американские человеческие ценности, подобная ситуация не может не вызывать глубокой тревоги.

Это же относится к расовым предрассудкам. Моя родная тетька жила и живет в городе Александрия, штат Вирджиния. Когда-то я ездил к ней в гости из Нью-Йорка. Мама сажала меня на поезд, я прибывал в Вашингтон, затем садился на автобус и доезжал до Александрии. В американской столице не было сегрегации, но как только автобус пересекал линию штата Вирджиния, сегрегация вступала в силу – негры занимали все задние сиденья, белые – передние. Мне было около двенадцати лет, когда я решил, что с этим пора кончать. И вот, в очередной раз приехав в гости к тете Жаклин, я сел в автобус на одно из задних мест. Никаких проблем не возникало, пока мы не пересекли линию штата. Все «черные» сели сзади, белые – впереди (на самом деле никто не пересаживался: с самого начала, еще в Вашингтоне, негры

садились на задние места, белые – на передние, ведь не было смысла устраивать такое переселение народов буквально через пять минут после отъезда от вокзала). Так что с самого начала я был единственным белым, севшим сзади. Кое-кто искоса посматривал на меня, но молча – пока мы не пересекли линию штата. Я продолжал сидеть, где сидел.

Автобус остановился. Водитель встал, подошел и стал разглядывать меня. Плечистый, мордастый, с торчащим животом – я ждал от него крика. Но он заговорил тихо, растягивая слова так, как это делают на американском юге:

– Парнишечка, ты ищешь себе неприятности? Так я тебе скажу: ты найдешь их. Подними-ка свою жопу и унеси ее отсюда бегом, слышь, парнишечка?

И мне вдруг стало совершенно ясно, что он не шутит, что если я откажусь, со мной может произойти настоящая беда. Я одновременно ощущал враждебность не только водителя, но всех пассажиров, белых и «черных». Для белых я был типичным хитрожопым янки – любителем черномазых, а для «черных» – опасным провокатором. Я пересел.

Потом я повторил этот опыт, и в результате меня выкинули из автобуса (стоявшего, к счастью). На самом деле с моей стороны это было глупостью – пользы никакой, а вероятность беды была велика.

Отвращение к расовым предрассудкам воспитано во мне родителями, которые в этом вопросе не различали цветов. Дома они часто говорили о расизме, объясняя мне, что он неприемлем, недостойн человека: «Этим и отличаются фашисты, нацисты, только они ненавидят евреев, вот и вся разница».



Моя любимая Джулия, благодаря которой я полюбил джаз и научился танцевать. 1945

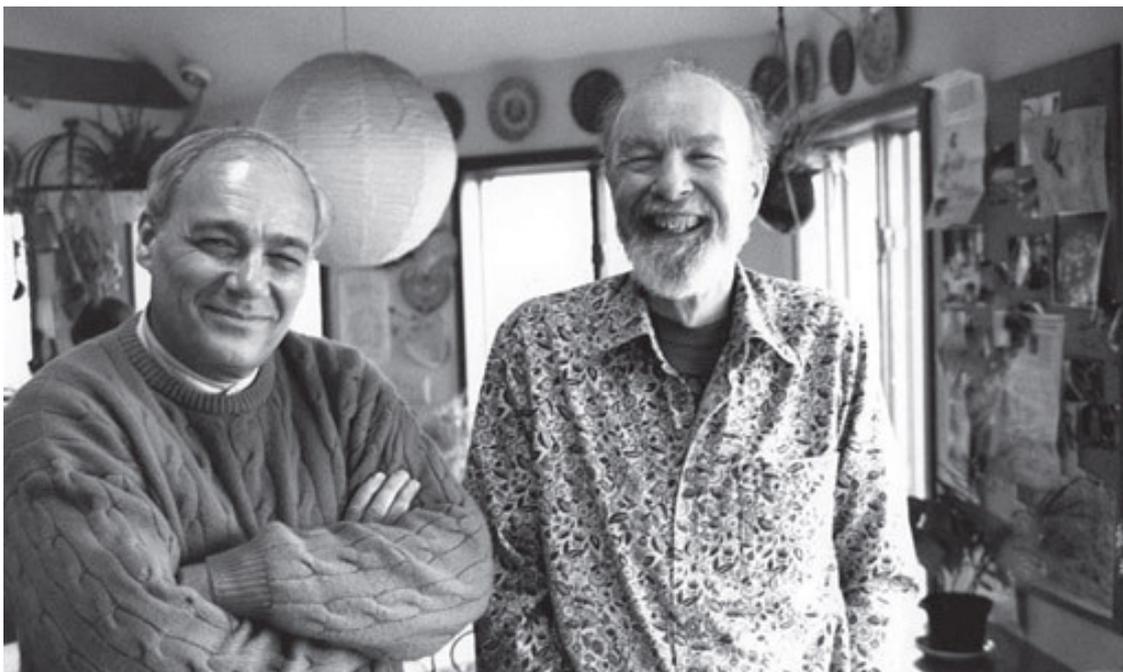
2.

Первым «черным» человеком, с которым я был близко знаком, стала наша домработница Джулия Коллинз. Для меня Джулия являлась боссом, абсолютным авторитетом. Она звала меня Владимэри – как я полагаю, такой вариант имени казался ей куда более естественным и благозвучным. Она была невысокая (метр пятьдесят три сантиметра) и необъятно толстая, но двигалась необыкновенно грациозно и легко. Она научила меня танцевать, и я никогда не забуду своих ощущений, когда я «вел» ее во время фокстрота: казалось, я держу в руках пушинку. Убирая квартиру, она что-то тихо напевала, иногда же запевала в полную силу. Я был готов слушать ее часами – такой у Джулии был голос.

Мне было девять лет, когда она впервые повезла меня к себе домой в Гарлем. Она жила со своей многочисленной семьей на Леннокс-авеню, угол Сто двадцать пятой стрит. Я помню ее сыновей и дочерей – славных, веселых, теплых людей. Я их обожал и совершенно не мог понять, почему одни ненавидят и презирают других за то, что у них кожа другого цвета. Как-то мой школьный приятель сообщил мне, что «ниггеры воняют», и, вернувшись из школы домой, я подбежал к Джулии, уткнулся носом в ее необъятную грудь и стал нюхать. Джулия сразу смекнула, в чем дело, и, закинув голову, захохотала так, что зазвенели оконные стекла. Захохотал и я. Кстати говоря, пахла она замечательно, было в этом запахе что-то от теплой земли, что-то призывно-завлекательное.

Джулия Коллинз играла роль сводни в моем романе с американской народной музыкой. Как я уже писал, убирая квартиру, она тихо напевала какой-нибудь блюз, а иногда в голос пела спиричуэлс¹². Чаще других она исполняла «Порой мне кажется, что я сирота». Я же приставал с просьбами спеть еще что-нибудь, и еще, и еще. Как-то в воскресенье, с разрешения моих родителей, она взяла меня со всей своей семьей в церковь в Гарлеме. Меня при рождении крестили в католической вере, и в этом качестве я бывал на службах, но никогда прежде не испытывал ничего подобного. Проповедь показалась мне несколько странной – уж больно вопил и размахивал руками священник, но от пения я совершенно обомлел. Меня словно подхватил нежный и мощный поток, и я полетел, охваченный восторгом, не замечая того, что смеюсь и плачу попеременно от ощущения радости и любви, надежды и горя.

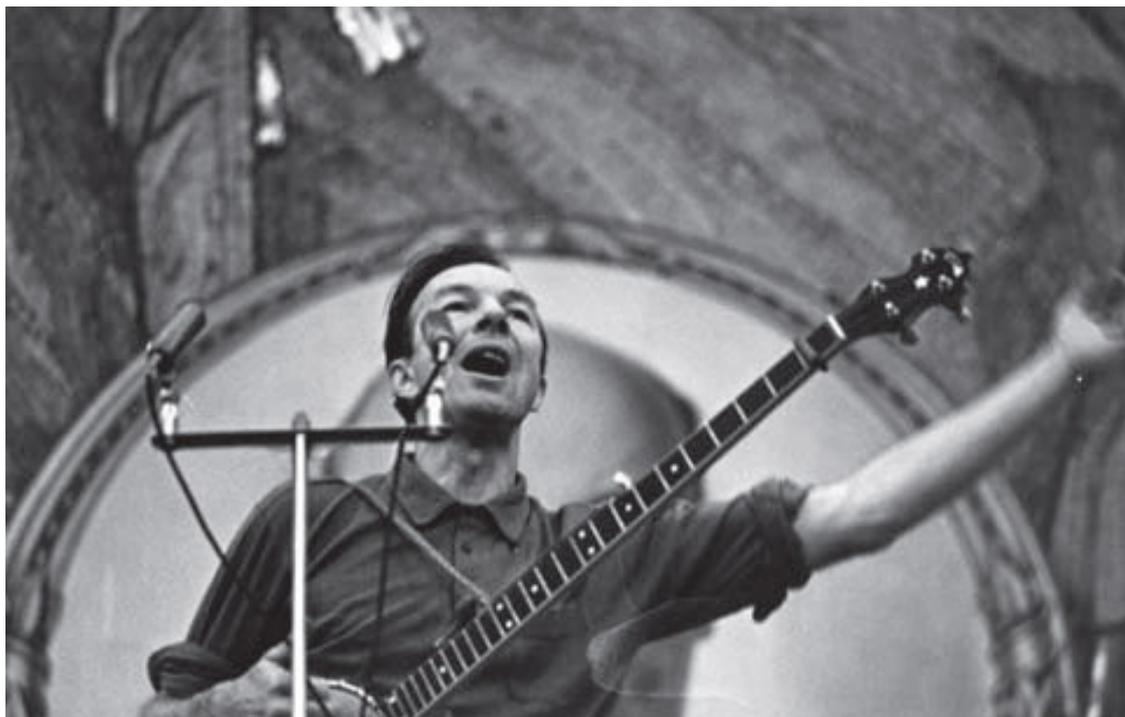
¹² Спиричуэлс, спиричуэл (англ. Spirituals, Spiritual music) – духовные песни афроамериканцев.



Пит Сигер, легендарный народный певец и музыкант. Мой учитель и близкий друг. Пригород Нью-Йорка, 1993 г.

Я «заболел» этой музыкой и стал просить у родителей в подарок проигрыватель – и получил его на Рождество. Это был автомат на десять пластинок фирмы «RCA» – полный восторг. Так я начал собирать пластинки. В то время в Америке существовал музыкальный рынок, специально «настроенный» на «черных», и я посещал именно эти магазины. В заведениях для белых не было того, что так полюбил я, да и я с полным презрением относился к белым кумирам, таким, как Бинг Кросби и Фрэнк Синатра, не говоря уж о Перри Комо. Я и по сей день дрожу над моими старыми, семьдесят восемь оборотов в минуту, пластинками Билли Холидей, Арта Тэйтума, Бесси Смит и многих, многих других. Да, я обожал и обожаю музыку «черной» Америки и буду любить ее всегда. Но это был лишь мой первый глоток из сказочного фонтана, который не только не утоляет жажду, но возбуждает ее, – фонтана американской народной музыки.

Джулия была сводницей, а сватом стал Пит Сигер.



Пит Сигер выступает в актовом зале МГУ. 1965 г.

Он преподавал музыку в школе «Сити энд Кантри», когда его фамилия еще никому не была известна, еще до создания ансамбля «Уиверс» («Ткачи»). Взлет американской народной музыки еще не начался, но благодаря Питу я открыл для себя Вуди Гатри, Ледбелли – людей, ставших впоследствии легендарными. Все это не могло не повлиять на мое представление об Америке, на мое отношение к ней. Эта поразительная музыка, такая живая, дышащая свободой, человеческим достоинством, как ничто другое выражала суть американского характера. Благодаря Питу и через его посредство я вошел в мир белой народной музыки, в мир баллад и «блюграсса», в мир кантри, в мир печальных ковбойских песен, в мир матросских куплетов и рабочих песен, и все они сливались в единое целое с песнями кандалных команд, с блюзами, со спиричуэлс.

В те годы только страстные любители жанра знали, кто такие Бесси Смит или Билли Холидей. Если сегодня упомянуть о Билли Холидей, ваш собеседник скажет, скорее всего, что видел фильм о ней с Дайаной Росс в главной роли. И то хлеб, как говорится. Но фильм не имеет ничего общего с оригиналом. Росс – продукт дня сегодняшнего, отличная певица, нет спора. Но это не Билли Холидей.

Я даже рискну предположить, что я чувствую и понимаю голос Америки – в смысле ее песен – лучше, чем большинство американцев. Многие из них и в самом деле плохо представляют себе собственные истоки. Но эти истоки и *есть* традиция – и таков, например, Вуди Гатри.

Вуди был исключительно американским явлением. То, что он говорил, и то, как он это говорил, выражает самую суть американского духа: «Я ненавижу песню, которая внушает тебе, что ты – ничто. Я ненавижу песню, которая внушает тебе, что ты для того родился на свет, чтобы проигрывать, что нет вариантов, что ни к черту никому ты не нужен, ни к черту ни на что не годишься, потому что ты или слишком стар, или слишком молод, или слишком толстый, или слишком худой, или слишком противный, или слишком то, или слишком се. Песни, которые обижают тебя, или песни, которые смеются над тобой за то, что тебе не повезло, что не все было гладко. Я буду воевать с такими песнями до последнего моего вздоха, до последней капли крови. Я собираюсь петь такие песни, которые докажут тебе, что это *твой* мир, и уж если он приподнял тебя и стукнул раз-другой, если сшиб с ног да еще напоследок врезал тебе,

неважно, сколько раз тебя переехало и перевернуло, неважно, какого ты цвета, или роста, или телосложения, я собираюсь петь песни, которые заставят тебя *гордиться собой*».

Вот это моя Америка...



Выступление Пита Сигера в Москве. 1965 г.

Мы по сей день остаемся с Питом Сигером близкими друзьями. Я помню его первый приезд в Москву в 1961 году. Ему предстоял концерт в Зале им. Чайковского, и среди песен, которые он собирался спеть, была одна о лесорубе. Для ее исполнения требовалось, чтобы на сцене лежало здоровенное бревно: Пит выходил, брал в руки топор и во время пения разрубал бревно пополам. Зал им. Чайковского принимал на своей сцене знаменитейших исполнителей мира и конечно же имел богатейший реквизит... но бревна среди него не числилось. Пит сказал мне:

– Слушай, Влад, мне нужно бревно. Представители Госконцерта считают, что я сбрендил, работники сцены только разводят руками.

Я ответил:

– Пит, не беспокойся. Тебе нужно бревно – ты его получишь.



С Питом Сигером, которого пригласил в свою передачу Фил Донахью, когда он презентовал мою книжку. 1990 г.

И я отправился на поиски бревна. Нельзя сказать, чтобы на улицах Москвы бревна валялись в значительном количестве. Но в конце концов я нашел прекрасный экземпляр, хотя и великоватый. Я позвонил брату Павлу, и вдвоем мы отнесли бревно ко мне домой. Наступил день концерта, и москвичи, оказавшиеся в это время в районе Зала им. Чайковского, улицы Горького и площади Маяковского, стали свидетелями весьма странного зрелища: мимо шли два молодых человека, разодетые в пух и прах и несущие на плечах бревно. Затем эти двое вошли через служебный вход в Зал им. Чайковского, молча миновали опешившую дежурную, поднялись по лестнице, вышли на сцену и положили бревно. Самое интересное заключалось в том, что никто из невольных зрителей не произнес ни слова, хотя смотрели на нас с изумлением.

Пит как-то провел всю ночь у нас дома, куда мы пригласили целую кучу друзей. Он пел и пел. Это было одно из тех редчайших мгновений, когда музыка всех объединяет, и хотя прошло уже много лет, тот вечер помнят все.

У Пита приятный голос (он называет его «расщепленный тенор»), но ему не приходится ждать приглашений из Ла Скала. Однако для народной музыки голос – не главное. Взять, например, Джоун (именно так следует произносить и писать ее имя в русской транскрипции, а не Джоан) Баэз – у нее совершенно удивительный по красоте голос, пожалуй, именно голос сделал ее знаменитой. Но я сомневаюсь, что через пятьдесят лет кто-нибудь вспомнит ее имя. Пит же Сигер – часть американской истории, невзирая на «расщепленный тенор», такая же часть истории, как Вуди, Ледбелли, Боб Дилан, да еще несколько человек, чьи голоса больше напоминали звук сыпающегося гравия или наждака по стеклу.

В чем же их секрет? Если речь о Пите, то ответ простой: он на редкость красивый человек. Я говорю не о внешности. Это человек поразительного мужества, цельности и честности, человек, который никогда не пел ради денег. Он вернул Америке американскую народную песню. Он пел тем, кого списали, выбросили за борт, он пел пикетчикам, он пел ради блага людей, он песней воевал против войны во Вьетнаме, его песни сыграли роль в борьбе за чистоту окружающей среды. Он сумел добиться того, чтобы жители побережья реки Гудзон скинулись на строительство трехмачтовой шхуны «Клируотер», которая затем поплыла по реке, заходя в города и поселки, объединяя людей разных политических взглядов, разного цвета кожи, разных вероисповеданий и мобилизуя их усилия, чтобы почти мертвая река была очищена и сохранена – и Гудзон спасли!

Пит использует американскую народную песню по ее прямому назначению: для обмена и передачи мыслей и чувств. Он великолепный исполнитель, он не просто поет. Он, если угодно, несет людям слово. Говорят, нет пророка в своем отечестве. Пит доказывает, что это не так. Это человек совершенно нестигаемый и бесстрашный, никакие «черные списки», никакие сенаторы МакКарти не могли его сломить. Да, он был занесен в «черные списки», был вызван Комиссией по расследованию антиамериканской деятельности, где от него требовали назвать имена всех знакомых ему коммунистов и самому ответить на вопрос: «Являетесь ли вы или были ли когда-либо членом коммунистической партии?» Пит сказал на это, что коль скоро его обвиняют в пении «подрывных» песен, он хотел бы исполнить одну прямо здесь, для Комиссии. Это ему запретили. Разумеется, он отказался ответить на вопросы, за что был обвинен в «презрении к Конгрессу», а за это полагалась тюрьма. Правда, Пита не успели посадить: когда МакКарти и компания попытались взяться за вооруженные силы США, утверждая, что среди высшего командного состава засели «красные», они, как говорят в Америке, «откусили больше, чем смогли прожевать». Комиссию и ее главу разгромили, а многие «незавершенные дела», в том числе и Пита, предали забвению. Это было много лет тому назад, но по сей день Пита Сигера, несомненную гордость страны, ни разу не пригласили выступить по общенациональному телевидению.

Пит – свободомыслящий человек в американском понимании этого слова. Именно это делает его выдающейся личностью. Его, как и всякого человека, можно убить. Но не победить.

Я часто задавался вопросом, почему такие люди, как Пит Сигер, стоят поперек горла общества? Скорее всего потому, что всякое общество, всякая социальная система обязательно реагируют на то, что им кажется опасным. Система совершенно индифферентна к той деятельности, которая не воспринимается ею как угроза. И чем система крепче, чем более она в себе уверена, тем менее она опасается угроз и, следовательно, менее репрессивна.

Так, в 1830-х годах в Соединенных Штатах людей вываливали в гудроне и перьях, сажали голыми на бревна и под общий жестокий хохот выносили из поселений и городов за то лишь, что те посмели похвалить англичан. Это было через семьдесят лет после окончания Войны за независимость против Великобритании, но тем не менее эта страна все еще казалась опасной, и любое пробританское высказывание воспринималось как предательство и вызывало жесточайший отпор. И такое – в государстве, которое во всеуслышание заявило, что свобода слова, свободомыслие – неотъемлемое право каждого человека. Как же так? А очень просто: Америка

тогда была относительно слабой страной, Великобритания же по нынешним меркам была ведущей супердержавой. Она представляла для Америки угрозу, по крайней мере теоретически. Не будем забывать и о том, что в 1812 году англичане взяли Вашингтон и сожгли Белый дом. Так что опасения американцев не были лишены оснований – отсюда и соответствующая реакция.

Если бы сегодня какой-нибудь американец крикнул: «Да здравствует королева (или король)!» – ему громко аплодировали бы, да еще купили бы кружку пива. Ясно же, что сегодня Королевская семья и Объединенное Королевство не представляют для Америки ни малейшей угрозы. Соединенные Штаты ныне сами являются супердержавой, за плечами у них двести лет опыта, и они более не реагируют на «опасности» подобного рода.

Но это не относится к коммунизму, к так называемой «Красной угрозе». Ведь она исходит от Советского Союза, а Советский Союз – сверхдержава. Истоки этого страха имеют глубокие корни. Когда в 1917 году в России произошла революция, многим, особенно в Европе, новое общество показалось чрезвычайно привлекательным. Вспомним о мощном революционном движении, в частности, в Венгрии и в Германии.

На Западе имущие рассматривали социализм как страшную заразу, как моральную опасность для их привилегий и власти и были правы. Революция в России совпала по времени с зарождающимся в Америке профсоюзным движением, тогда рабочие, по сути дела, еще не имели союзов, элементарных прав, работали по двенадцать – четырнадцать часов в сутки в ужасающих условиях, а там, в России, коммунисты объявили о самом коротком в мире восьмичасовом рабочем дне, о самой короткой рабочей неделе – четыре рабочих дня, пятый – выходной. Ясно, это многих привлекало, и конечно, Морганы, Дюпоны, Рокфеллеры и прочие капитаны индустрии видели в этом смерть для себя. И последовало то, что сегодня является историей, – период «Красной угрозы».

Попробуйте полистать американские публикации 1918 года, и вы неоднократно встретите карикатурное изображение одной и той же темы: мужчина угрожающего вида – собственно, мужчина ли он, не горилла ли? – с всклокоченной торчащей бородой, с меховой шапкой на голове; между сжатыми крупными, как у лошади, зубами он держит нож, в правой руке – бомбы с дымящимся фитилем, левой он приподнимает угол висящего флага Соединенных Штатов, под которым собирается пролезть. Поперек шапки на ленте написано «БОЛЬШЕВИК». Вот она, коммунистическая угроза Америке, так пытались – и не безуспешно – напугать до полусмерти американцев. Красные сделают их жен общими, съедят их детей, разграбят их дома.

Кому принадлежали газеты и журналы – единственные тогда средства массовой информации? Тем же, кто владеет ими сейчас: богатым и сверхбогатым. Надо ли удивляться тому, что их роль и тогда, и позже, во времена маккартизма, была злонамеренной? Прежде чем действовать, властям требовалась народная поддержка, и средствам массовой информации предстояло сыграть ключевую роль в возбуждении антикрасной истерии и поддержании ее в точке кипения. Как только чайник забулькал, власть приступила к завариванию соответствующего напитка.

Рейды, организованные Генеральным прокурором США Пальмером, которые я упомянул ранее, были лишь одним из ингредиентов. О них в Америке забыли – что крайне удобно. Так, энциклопедия *The Columbia Viking Desk Encyclopedia* за 1960 год сообщает лишь следующее: «Пальмер, А(лександр) Митчелл, 1872–1936, Генеральный прокурор США (1919–1921). Страстно преследовал тех, кого подозревал в нелояльности по отношению к США». Ну конечно. И Вышинский тоже страстно преследовал тех, кого подозревал в нелояльности к СССР. И святая инквизиция страстно преследовала тех, кого подозревала в нелояльности к... Уточню, что целью так называемых «рейдов Пальмера» было уничтожение всех социалистов, подавление рабочего движения, арест всех радикалов-иммигрантов и высылка их обратно в Европу.

Еще одно свидетельство тех времен – казнь Сакко и Ванцетти. Сегодня известно, что дело их было сфабрикованным; штат Массачусетс, в котором они были казнены, признал их невиновность. Использовали эту пару итальянских иммигрантов, дабы продемонстрировать «иностранные», а, следовательно, не американские истоки социализма, и казнили их, чтобы «доказать» обществу: красные все до одного по своей природе убийцы. По той же логике убили и Джо Хилла, о котором потом родилась народная песня, вошедшая в американские анналы:

Во сне приснился мне Джо Хилл живым, как ты и я.
– Но Джо, тебя нет десять лет.
– Смерть не берет меня, смерть не берет меня...

Джо Хилл, точнее, Джозеф Хиллстром, был шведским иммигрантом, которого расстреляли за то, что он якобы убил хозяина овощной лавки в городе Солт-Лейк Сити. На самом деле он просто являлся одним из первых профсоюзных активистов в истории Америки.

Это был первый период «Красной угрозы». Я же стал свидетелем начала второго – в конце сороковых годов. С течением времени напряжение нарастало, что привело к «черным» спискам, к появлению Джозефа МакКарти, к тому, что миллионы американцев зажили в атмосфере страхов и доносов. Вновь власть имущим почудилась угроза. Победа Советского Союза над Германией и ведущая роль, которую сыграли разные коммунистические партии в организации подпольного сопротивления и партизанского движения в Европе, резко подняли авторитет и популярность СССР и компартий, особенно во Франции, в Италии и в Греции. Усугубляло дело и то, что в американском профсоюзном движении постепенно стали закрепляться социалистические и даже коммунистические элементы. Очевидно, требовалось повторить то, что предприняли после Первой мировой войны, вновь напугать американский народ. В этом и заключался подлинный смысл всего маккартистского периода. Средства массовой информации тех лет внушали народу, что коммунисты проникли повсюду, что под каждой кроватью прячется «красный», что даже американское правительство поражено коммунистической заразой. Да разве у самого Эйзенхауэра нет партбилета? Сегодня мы говорим об этом со смехом, но смешного-то мало. Лучше задаться вопросом, как и почему это все произошло и почему по сей день слово «коммунист» вызывает в рядовом американце страх?

То, что во времена маккартизма было не до смеха, – общеизвестно. В той атмосфере никто особенно не выступал против «черных» списков, против тюремного заключения не желающих «сотрудничать». Правда, никого не убили, хотя было много самоубийств. Большинство людей уничтожили морально и экономически. Тем не менее это совершенно не походило на сталинские репрессии – ни по стилю, ни по существу. Вместе с тем следует помнить, что речь идет не о Советском Союзе 1937 года, а о стране, имеющей двухвековой опыт демократии, стране, безопасности которой на самом деле не угрожал никто. Это была наиболее могущественная держава как в военном, так и в экономическом отношении, она на голову превосходила всех остальных, можно сказать, что ни одно государство не доходило даже до ее пупка. Американцам нечего было бояться – но это не помешало им впасть в параноидальное состояние.

Когда американцы спрашивают меня: «Откуда вы знаете, что у вас не появится второй Сталин, какие есть тому гарантии?» – я отвечаю: «Откуда вы знаете, что не появится в Америке еще один Джо МакКарти, какие есть гарантии не только этому, но и тому, что вы не придете к фашистской диктатуре?»

Разве существует общество, способное дать подобные *гарантии*? Гитлероподобного деятеля можно избрать вполне демократическим образом. Собственно, так уже было.

Я пишу обо всем этом в надежде, что люди готовы честно смотреть фактам в глаза. И тогда они согласятся с тем, что в устойчивых, сильных общественных системах должны суще-

ствовать определенные непереступаемые грани выражения несогласия. Эти грани будут расширяться по мере того, как общество становится более демократическим и гуманным, но не следует обманываться или обманывать других: грани все равно остаются.

Америка – тому пример. Да, американцы пользуются большей свободой слова, чем люди советские (по крайней мере, так обстоит дело сегодня; что будет завтра – не знает никто). Но тем шире доступ к народу в целом и тем серьезнее ограничения. Так, есть определенные взгляды, которые не допускается выносить на национальные телеканалы. У меня состоялся любопытный разговор о свободе слова с президентом одной из трех телесетей страны. После довольно длительного спора я спросил его: «Если бы я был самым известным вашим репортером и если бы вы послали меня в Советский Союз, чтобы подготовить серию передач, а я, вернувшись, открыл бы свою серию следующими словами: „Леди и джентльмены, я вынужден признать, что мы, представители американских средств массовой информации, ввели американский народ в заблуждение, ибо социализм, как я увидел в России, ведет к созданию более справедливого общества, чем наше“, – скажите, сколько времени я еще проработал бы у вас?»

Он ответил честно: «Нисколько. Вас не только уволили бы, но ни одна телевизионная станция страны не захотела бы иметь дело с вами».

Вот, пожалуй, и все. Просто и ясно.

С другой стороны, коммунистическая партия США имеет право публиковать свою газету *People's Daily World*. Правда, ее тираж столь ничтожен, что не о чем беспокоиться.. Тут речь идет о некоторой ухищренности, восходящей к британской традиции, – англичане великие мастера этого искусства. Пусть себе человек заберется на ящик из-под мыла посреди Гайд-парка! Пусть хоть вывернется наизнанку! Пусть получит полное удовлетворение от осознания того, что смог публично высказать все накипевшее! Дайте ему возможность прийти домой к жене и поведать ей, как он им всем врезал! Ну дайте ему эту возможность... Ведь нет в этом ничего опасного, ну ничегошеньки. Если же зародится движение, если у него обнаружатся последователи, если это все начнет расти и расширяться – другое дело. *Тогда* и встанет вопрос, как лучше его нейтрализовать. Чем ухищреннее общество, тем эффективнее оно с ним справится. Ну, а если не будет другого выхода, его убьют. Мы же были свидетелями подобных вещей. Понятно, нам внушают, что убийство совершено маньяком-одиночкой, однако...

Что *на самом деле* кроется за убийством Мартина Лютера Кинга? Неужели есть люди, которые искренне верят, что человек по имени Джеймс Эрл Рей решил застрелить его? Взял и решил? Ни с того ни с сего? Не знаю, что думаете вы, но я не верю. Ведь Мартин Лютер Кинг стал мощным явлением, силой в Америке. Пожалуй, Америка не знала такого человека со времен Авраама Линкольна (которого, кстати, застрелил некто Джон Уилкс Бут, еще один «безумец»). Кинг не только консолидировал «черных» граждан Америки, он добивался единения «черных» и белых, он спланировал все этнические меньшинства страны. Это был первый человек в истории США, которому подобное удалось. Его идеалы – вполне притом христианские – приводили к таким выводам, которые угрожали самым разным интересам, в частности, интересам военно-промышленного комплекса, войне во Вьетнаме, гонке вооружений. То, что говорил Кинг, то единение, которого он добивался, угрожало *status quo*. И это было неприемлемо.

Ограничения существуют всегда. Весь вопрос заключается в том, насколько умело система их определяет и утверждает. Любая система защищается – уж в этом сомневаться не приходится. Чем она неуверенней в себе, тем тяжелее окажется мера ее действий, вернее, действия будут сверх всякой меры. Французская революция 1789 года победила под лозунгом Свободы, Равенства и Братства – а затем занялась отрубанием множества голов, в том числе тех, кто принадлежал к самым страстным приверженцам этой самой революции. Людей казнили за протесты против бессмысленной жестокости, их казнили за высказываемые сомнения.

В сегодняшней Франции человек может куда более резко высказаться о власти, о властителях без того, чтобы на это кто-либо обратил хоть какое-то внимание.

В Советском Союзе существует своя эволюция ограничений, о чем я еще скажу. Пока же отмечу, что появилось новое ощущение, некоторое чувство уверенности в большей терпимости общества, люди начинают отдавать себе отчет в том, что социализм – по крайней мере концептуально – должен всячески способствовать свободе мысли, слова и выражения.

Тем не менее ограничения остаются, и их много. Но как ни странно, в некотором отношении они менее жестокие, чем в Соединенных Штатах. Например, в советских средствах массовой информации чаще можно встретить критику своего общества и похвалу в адрес другого, нежели в американских. Однако редко появляется критика Горбачева или других членов Политбюро. Если бы это было результатом некоего принципа, в соответствии с которым высокопоставленные члены партии и правительства и не подвергаются критике и не награждаются похвалой, но критикуется или превозносится та или иная *политика*, то или иное *действие*, что ж, можно было бы поговорить о пользе или вреде такого подхода. Но на самом деле руководство лишь превозносится, ему курят фимиам. При перестройке и гласности не должно быть проблем с публичной критикой лидера или лидеров страны. А проблема-то есть, и весьма серьезная. Мы молчим в основном из-за традиционного страха последствий. В прошлом любое такое высказывание угрожало твоей карьере, твоей свободе, твоей жизни. К этому добавляется некая традиция почитания чинов – нечто схожее с британской традицией не критиковать королеву. Но страх, конечно, – главная причина молчания. Еще одно табу – внешняя политика СССР. Журналисты, вернее, редакторы весьма неохотно печатают критику в этой области – в отличие, кстати, от тем политики внутренней. Но я надеюсь, что, пока эти строки дойдут до вас, читателя, положение изменится к лучшему.

Итак, о будущем. Сомневаюсь, что будет позволено открыто призывать к свержению правительства и социалистического строя. Подобным правом американец обладает только в том случае, если этот призыв не содержит в себе «ясную и сиюминутную угрозу» – хотя что означают сии слова, понять трудно. Но возможно, примут похожее правило и в России? А вдруг пойдут еще дальше, кто знает? Предсказания – дело малопродуктивное. Вряд ли каких-то пять лет назад кто-нибудь мог предсказать то, что сегодня происходит в Советском Союзе. Определения того, к чему можно публично призывать в любом обществе, зависят от того, каким *само общество* видит происходящее, в какой мере оно воспринимает это как угрозу своему существованию. Но если оно именно так это воспринимает, угрозу ликвидируют – будь то в Советском Союзе или в Соединенных Штатах Америки.

Оба общества требуют от нас быть честными, когда мы оцениваем ограничения в том, что касается практики свободы человека во всех ее проявлениях. Если эти ограничения противостоят заявленным нами идеалам, мы морально обязаны протестовать. Применительно к социализму и его практике это ставит вопросы одного рода. Применительно к Америке конфликт возникает между давней демократической традицией, с одной стороны, и с другой стороны – экономической системой, которая фактически вверяет власть привилегированному меньшинству. Раньше ли, позже ли, Америке придется разобраться с этим. Исходя из своего опыта жизни в Америке, знаний ее традиций и народа, я полагаю: когда наступит время для решения этих фундаментальных противоречий – а оно наступит неизбежно, – вопрос будет решен в пользу демократии.

* * *

Гм-гм. Смотрите, что идеология способна сотворить с человеком! Она слепит его, делает глухим. Это не оправдание, а констатация факта.

Конечно, все это писалось во времена горбачевской гласности и ельцинской вседозволенности, когда и в самом деле советским СМИ дозволялось все... или почти все...

Было это году в девяностом, какой-то американский журналист обратился ко мне с вопросом, за кого я стал бы голосовать – за Горбачева или за Ельцина, если бы в ближайшее воскресенье состоялись президентские выборы. Я ответил, что, хотя всегда был горячим сторонником Горбачева, я перестал понимать его политику, его назначения, мне неясны кровопролития в Вильнюсе и Риге, Тбилиси и Баку, словом, я скорее всего проголосовал бы за Ельцина.

Через несколько дней меня вызвал начальник Главного управления внешних сношений, заместитель председателя Гостелерадио СССР Валентин Валентинович Лазуткин. Мы с ним было знакомы давно, он сыграл одну из главных ролей в моем назначении политобозревателем и явно относился ко мне с симпатией.

– Володя, – начал он, – у тебя неприятности. Ты давал интервью американцам о том, за кого проголосовал бы, за Михаила Сергеевича или за Ельцина?

– Давал.

– Ты сказал, что проголосовал бы за Ельцина?

– Сказал.

– А зря. Все дошло до Михаила Сергеевича, он очень недоволен. Сейчас у нас идет перестановка политобозревателей, и Леонид Петрович считает, что тебе нет места на телевидении. Тем более что ты вышел из партии...

Леонид Петрович Кравченко был председателем Гостелерадио, правда, не долго – с 1990 по 1991 год, – но за короткий срок успел продемонстрировать всем свою реакционность; в частности, ему принадлежит заслуга закрытия знаменитой перестроечной программы «Взгляд». Высокий, хорошо сложенный, с подкупающей улыбкой, голубоглазый, чуть курносый – с типично русским лицом «вечного мальчика» (этому образу совершенно не противоречили красиво подстриженные седые волосы), он пришел на ТВ из газеты «Труд», имевшей благодаря его стараниям самый большой тираж среди всех советских газет. Это был человек безусловно способный, умелый и, как мне кажется, лишенный даже намека на совесть. Абсолютный продукт советской системы. Сегодня партия заявила, что Земля плоская – с жаром будет доказывать, что это так. Завтра партия объявит, что Земля круглая – с таким же жаром примется убеждать всех в этом. И горе тому, кто не согласится.

– Валентин Валентинович, – сказал я, – а ведь Леонид Петрович прав, мне и в самом деле нет места на этом телевидении. Я напишу заявление об уходе.

Лазуткин не стал отговаривать меня.

Заявление я написал и отправил в отдел кадров. Но я не ограничился банальной фразой «прошу освободить меня от занимаемой должности по собственному желанию», а развернуто изложил причины своего нежелания далее работать под началом Кравченко Л.П.

Последующие события приняли неожиданный для меня поворот. Мне предстояло взять интервью у Председателя Президиума Верховного Совета СССР Анатолия Ивановича Лукьянова. Я позвонил ему и объяснил, что интервью не состоится, потому что я подал заявление об уходе. Анатолий Иванович сказал, что этого не может быть и чтобы я приехал немедленно к нему в Кремль. Это было, пожалуй, мое первое посещение кремлевского кабинета. Подробностей уже не помню, в памяти остались лишь огромных размеров кабинет и невероятное количество книг на полках – книг очень хороших.

Я поведал Лукьянову о своем решении, он сказал, что немедленно позвонит Кравченко и «вправит ему мозги». Я объяснил, что приехал к нему не для того, чтобы просить помощи, что решение принято бесповоротно.

– Но хочу заметить вам, Анатолий Иванович, что вы сильно ошибаетесь, когда назначаете таких людей, как Кравченко, на руководящие посты: пока вы у власти и все хорошо,

они готовы поцеловать вас в любое место, но первыми всадят вам нож в спину в трудный для вас момент...

Разговор не получился. Покинув кабинет, я пошел к лестнице и столкнулся с Евгением Максимовичем Примаковым, который в то время занимал какой-то высокий правительственный пост (по моим ощущениям, Примаков всегда занимал высокий пост – это, конечно, преувеличение, но сколько я помню Евгения Максимовича, он всегда был «там», наверху). Увидев меня, Примаков спросил басовитым и одновременно скрипучим голосом:

– Володь, я слышал, у тебя неприятности?

– Да что вы, Евгений Максимович, это у них неприятности, у меня все хорошо.

– А ну-ка зайди ко мне...

Если кабинет Лукьянова и удивил меня размерами, то этот просто поразил: по нему можно было ездить на велосипеде.

Разговор состоялся в своем роде замечательный и свелся к двум посылам: первый – я не должен уходить; второй – Кравченко, возможно, и переборщил, но и мы, журналисты, позволяем себе черт знает что и с этим надо что-то делать.



С гостем программы «Pozner & Donahue», сенатором Джо Байденом, ныне вице-президентом США. 1993 г.

Заявление я назад не забрал, и через два дня мне позвонили из приемной Кравченко с просьбой «зайти к Леониду Петровичу». Я сразу понял, что с ним «поговорили», но совершенно не ожидал того, что последовало: он встретил меня как родного вернувшегося в лоно семьи сына, сказал, что я – лучший профессионал среди всех, кто работает на ТВ, и что он мне

дает «карт бланш» – мол, могу делать что хочу и как хочу. А ведь это был тот же самый человек, который даже не счёл нужным встретиться со мной, чтобы сообщить, что мне нет места на ТВ, поручив это своему заместителю.

Я отказался, повторил, что не желаю работать с ним на этом телевидении, и ушел. Через некоторое время я получил приглашение от Валентины Николаевны Демидовой вести еженедельное ток-шоу в прямом эфире Московского телевидения. Так появилась программа «Воскресный вечер с Владимиром Познером», которую я вел с удовольствием вплоть до отъезда в США. С Демидовой работать – одно удовольствие: профессионал до мозга костей, сердечная, добрая, она протянула мне руку помощи в трудный для меня момент. За что я был и всегда буду ей благодарен.

И все же работать журналистом в те годы было делом необыкновенно увлекательным: свободы было много – несравненно больше, чем прежде, и гораздо больше, чем сегодня. А что Америка?

Работая в Америке на канале CNBS, где вместе с Филом Донахью мы делали программу «Rozner & Donahue», я близко познакомился с тем, как реально обстоят дела со свободой слова. Приведу случай, который стал роковым для программы «Познер и Донахью». Новым президентом канала CNBS был назначен Роджер Эйлс (нынешний президент канала Fox News), человек крайне реакционных, чтобы не сказать неандертальских, взглядов. Когда наступило время возобновить наш контракт, Эйлс позвонил мне и сказал (помню, как мне кажется, почти дословно):

– Мы продлим с вами контракт, но только при двух условиях. Во-первых, вы должны будете согласовывать со мной тему каждой вашей программы. Во-вторых, вы должны будете согласовывать гостей, которых приглашаете, а то у вас сплошные либералы!

Это была ложь: мы чаще приглашали именно представителей консервативного крыла, людей иных, а то и противоположных нам политических взглядов. Но соврать ради достижения цели никогда не составляло трудности для Эйлса.

Я заметил ему, что это называется цензурой. На что мистер Эйлс ответил (и это точная цитата):

– I don't give a rat's ass what you call it, that's the way it's going to be¹³.

Я объяснил Эйлсу, что не для того переехал из Москвы в Нью-Йорк, чтобы меня цензурировали, и послал его к черту. Фил сказал примерно то же самое. В результате наш контракт не продлили, и программа исчезла.

Замечу, что она была успешной и имела самый высокий рейтинг среди всех политических шоу, шедших по кабельному ТВ в то время. Но никто из телекритиков не «заметил» ее исчезновения. Знаю, что Ральф Нейдер, один из самых известных общественных деятелей США, с возмущением позвонил Тому Шейлзу, главному телекритику престижнейшей газеты The Washington Post, а тот выслушал Нейдера, что-то пробормотал и... ничего не последовало. Все прошло тихо-мирно, без скандала.

Фил продолжал выходить в эфир со своим шоу «Донахью», я же лишился работы. Со мной связался один из самых известных и влиятельных телевизионных агентов США и предложил свои услуги, которые я конечно же принял. Он, как я потом узнал, обратился по моему поводу к трем главным телевизионным сетям Америки – ABC, NBC и CBS. Первая реакция во всех трех случаях была весьма позитивной, но когда предложение доходило до «руководящих этажей», его отвергали. Как оказалось, мне не могли простить моего советского пропагандистского прошлого. Если говорить совершенно откровенно, я не в обиде. За все надо платить. Не знаю, как сложилась бы моя жизнь, получи я работу, но не сомневаюсь: сложилась бы она совершенно иначе. Вполне возможно, что я так и не вернулся бы в Россию.

¹³ Мне до крысиной жопы, как ты это называешь, но будет именно так (англ.).

Через несколько лет после моего отъезда из Нью-Йорка Фила Донахью пригласили вести программу на канале MSNBC, где он имел неосторожность резко выступить против операции «Шок и Трепет» (войны в Ираке). Программу почти сразу же закрыли. Потом кто-то обнаружил записку за подписью председателя правления компании General Electric (которой принадлежит телевизионная компания NBC) о том, что лица, подобные Донахью, не должны появляться в эфире.

И все-таки: уровень свободы печати, свободы слова в Америке значительно выше, чем в России. Тому множество причин, и самая очевидная заключается в том, что в США средства массовой информации контролируются частными владельцами, а в России – властью, либо прямо, либо опосредованно.

Хотя эта причина и лежит на поверхности, она далеко не главная. Если представить себе, что завтра в России власть уйдет из СМИ (как того потребовал президент Медведев), положение изменится незначительно и конечно же не станет таким, как в Америке.

Уж слишком различна история двух стран, слишком рознятся представления о роли СМИ в частности и о свободе печати в целом. Прочтите, что писал Томас Джефферсон, автор Декларации Независимости США, одному своему приятелю в 1787 году: «Поскольку основой нашего правления является мнение народа, первой целью должно быть сохранение этого права, и если бы мне выпало решать, иметь ли нам правительство без газет или газеты без правительства, я, ни минуты не сомневаясь, предпочел бы последнее». Обратите внимание: написано в 1787 году будущим президентом. Что происходило в России в это время? Пик феодализма с Екатериной II, преследование Новикова и Радищева за изданные и написанные ими статьи и книги.

Если посмотреть на это чуть шире, то заметим, что по сути дела русский народ всегда находился в рабстве – почти три века татаро-монгольского ига, за которым через некоторое время последовало установление крепостного права, длившегося без малого четыре века; его отмена не сопровождалась попытками дать крестьянству подлинную свободу (т.е. земельные наделы), а спустя пятьдесят с небольшим лет пришло рабство в виде советской власти с ее прикреплением крестьян к колхозу.

Откуда у народа с подобной историей может взяться понимание свободы? Свобода и ответственность – две стороны одной и той же монеты, без второй нет первой. Но раб по определению безответственен, за него отвечает хозяин. Для раба существует воля – что хочу, то и ворочу, – не имеющая ничего общего со свободой.

Мне потребовалось довольно много времени, чтобы прийти к этим выводам. Придя к ним, я понял: мои прекраснотушные мечты о том, что скоро все изменится к лучшему, суть тоже иллюзии. Повторюсь: если завтра президентом России станет просвещеннейший демократ, если перестанут оказывать давление на журналистов, если и федеральная, и региональная власти будут вынуждены уйти из СМИ, если будут созданы, помимо частных, общественные СМИ, – все равно потребуются еще немало времени, чтобы положение стало таким, каким является в Западной Европе.

«Крепостной» менталитет власти очевиден. Все эти постыдные попытки квалифицировать демократию, называя ее то управляемой, то суверенной, все это словесное жонглирование, напоминающее цирковой номер, есть не что иное, как выражение не то что нежелания, но неспособности нынешней российской власти вырваться из представлений прошлого. Сюда же можем отнести и заигрывания с Русской православной церковью, которая, как ни одна другая сила в России, устремлена в прошлое.

Вернувшись в Россию, я встретился со СМИ, совершенно лишенными обязательств, с журналистами, искренне считавшими, что не несут ответственности ни перед кем, кроме своего главного редактора, – да и то лишь потому, что он может их уволить. А всего через четыре года к власти пришел Владимир Владимирович Путин, и установленная им «вертикаль

власти» привела к тому, что журналистики в России почти не стало – были введены неписанные ограничения, приведшие к безграничной самоцензуре, при которой несомненное большинство сегодняшних «журналистов» чувствуют себя как нельзя лучше.

Когда я уезжал из СССР в 1991 году, я покидал страну, в которой, после долгих десятилетий правления веры и страха, робко зарождалась новая вера – без страха. Вернувшись всего через семь лет, я нашел страну, совершенно лишенную какой бы то ни было веры; что до страха, то ему на смену пришли цинизм, безразличие и неумная жажда денег.

Конечно, есть исключения. Но как мы знаем, исключение только подтверждает правило.

Глава 2. Лимб

Мы выплыли из нью-йоркской гавани в декабре 1948 года на «Стефане Батории», польском океанском лайнере водоизмещением в тридцать четыре тысячи тонн. Помню, как я стоял на палубе и смотрел вниз, на дебаркадер, где толпились провожающие. Проститься с нами пришел лишь один-единственный человек – мой дядя Бийл, муж тети Жаклин. И больше никого. Никого из числа ближайших друзей, из тех, кто пользовался нашим гостеприимством, когда отец неплохо зарабатывал, тех, кто приходил в наш дом, чтобы наслаждаться хорошим вином и хорошей компанией...

Последний год в Америке был тяжелым. Папа потерял не только работу, но и надежду на ее получение. Советскому гражданину с коммунистическим мировоззрением, человеку, который не стеснялся открыто выражать свои политические взгляды, не было места в этой Америке, и он быстро это понял. Он мечтал вернуться в Советский Союз со своей семьей. Он говорил об этом неоднократно с советским генеральным консулом в Нью-Йорке, но тот отвечал уклончиво и неопределенно, от чего отец сходил с ума. Позже, когда мы жили в Германии, картина повторилась, только теперь уклончивые ответы давал не генконсул, а посол СССР в Германской Демократической Республике, – и отец вновь не находил себе места. Сегодня я понимаю, что все мы обязаны жизнью этим двум людям. Если бы мы приехали в Советский Союз чуть раньше, не приходится сомневаться в том, что отца расстреляли бы, мы с матерью очутились бы в ГУЛАГе, а брата разместили бы в приюте для детей врагов народа. Генеральный консул в Нью-Йорке и посол в Берлине знали о том, что творится в СССР. Но ни тот, ни другой не могли рассказать об этом моему отцу, да и он вряд ли поверил бы им; поэтому они изо всех сил пытались задержать его отъезд. Я буду благодарен им по гроб жизни и хочу, чтобы все знали их имена: Яков Миронович Ломакин и Георгий Максимович Пушкин.

Лишившись работы, не имея права на въезд в Советский Союз, мой отец решил вернуться во Францию, страну, которую он знал и любил. Это вполне соответствовало желанию матери. Она не нуждалась во французской визе, поскольку являлась гражданкой Франции. Мы с братом были вписаны в ее паспорт. А вот с отцом дело обстояло иначе. Ему требовалось получить визу. Шел 1948 год, Коммунистическая партия Франции была сильна как никогда. Более того, существовала реальная угроза того, что к власти придет коалиция левых сил. Французские власти моего отца знали, и нельзя сказать, что жаждали его возвращения. Они скорее всего отказали бы ему в визе в любом случае, но тут подоспел донос от бывшего его сотрудника, некоего Шифрина, человека, завидовавшего ему и ненавидевшего его (эти два чувства часто идут рука об руку); в доносе отец был назван «опасным коммунистом». Получив такого рода «предупреждение», французские инстанции поступили вполне предсказуемо – визу не дали.

Именно тогда у матери случился тяжелый нервный срыв. Вдруг прямо на улице она потеряла сознание. С того дня и в течение многих лет она боялась выходить из дома одна. Мне трудно представить себе, что она испытывала, когда ей, женщине сильной и независимой, каждый раз приходилось просить мужа, либо меня, либо знакомых сопровождать ее.

У нас оставалась еще одна возможность – уехать в Мексику. Многие американские «левые» бежали туда от МакКарти и его Америки, и у отца было много добрых друзей среди мексиканских кинодеятелей. И вдруг, словно гром среди ясного неба, он получил предложение от советского правительства: работать в организации «Совэкспортфильм» в составе Советской военной администрации в Германии (СВАГ) с конкретной задачей – восстановление немецкой киноиндустрии в советской зоне оккупации. Обрадовавшись, отец тут же согласился.

* * *

После окончания войны довольно многие из эмигрантов (либо детей эмигрантов), покинувших Советский Союз, стали возвращаться. Их называли «реэмигрантами» и относились к ним с подозрением. Не могло быть и речи, чтобы им предложили советскую представительскую работу за рубежом. А отцу моему предложили. Я, тогда ничего не знавший о советских порядках, не обратил на это никакого внимания, как и моя мама. Лишь спустя много лет я сообразил – а потом и получил доказательства того, что отец сотрудничал с советской разведкой. Он не был кадровым офицером, не получал никаких денег, но как многие другие, в том числе весьма известные и высокопоставленные люди, сотрудничал по идеологическим мотивам. Я к этой теме вернусь, но мне хотелось сразу внести ясность в вопросе папиного назначения в Берлинское отделение «Совэкспортфильма».

* * *

Как сложилась бы моя судьба, если бы французы не отказали моему отцу в визе? Если бы не последовало предложения от советских властей и мы уехали бы в Мексику? Или если бы отец отказался от советского гражданства в пользу американского? Это просто личная головоломка, не более того, поскольку то, что случилось – случилось, и никто никогда не узнает о том, что могло бы быть. Но мне почему-то в голову приходит рассказ О'Генри «Дороги, которые мы выбираем»: если судьбе угодно, чтобы тебя убил Маркиз де Бопертью, то так оно и случится, независимо от выбранной тобой дороги.

В 1948 году нас перестали навещать не только знакомые, но и почти все друзья. Зато появились новые визитеры. Это были представители Федерального бюро расследований (ФБР), задававшие нам обычные вопросы. «Обычные», а не «идиотские», потому что у них своя логика, которая может показаться упрощенной и туповатой, но ее не следует недооценивать. Полиция, как и Церковь, существует очень давно, она – один из древнейших общественных институтов, накопивших громадный опыт. От нас шарахались как от прокаженных, в гости не приходили и не звали. Исчезла даже семья Уиндрои, знавшая нас с середины тридцатых годов. Не пожелал исчезнуть лишь дядюшка Бийл.

Я его никогда не любил. Навещая своих двоюродных братьев в Александрии, я держался от него подальше. Меня настораживало и то, что все зовут его только по фамилии – Бийл. Это был молчаливый человек, он редко улыбался и запрещал своим детям (и мне тоже) дотрагиваться до замечательной игрушечной электрической железной дороги, которую установил в подвале. Он был строг, педантичен, холоден. Но когда дошло до дела, когда все наши либеральные, левые, прогрессивные друзья спрятались под корягу, бежали прочь, предпринимали все, лишь бы их не увидели ни с мамой, ни с отцом, этот человек, несомненно консервативных политических взглядов, этот стопроцентный истинный американец не струсил, не пожелал отказаться от родственников своей жены потому, что они не нравятся ФБР. Нет, не таков был Бийл. Он подчеркнуто публично попросил на CBS свободный день и приехал из Вашингтона в Нью-Йорк, чтобы проводить нас.

Я этого не забыл. И имея возможность на протяжении лет видеть, как страх вынуждал людей предавать друг друга, я все больше понимал значение жеста дядюшки Бийла; и я стал испытывать вину за то, что не любил его, что не разгадал подлинную душу этого немногословного, строгого и сдержанного человека. И один из самых счастливых моментов в моей жизни наступил через сорок лет – вскоре после того, как Бийла оперировали по поводу рака, и незадолго до его кончины. Я приехал к нему в больницу и провел с ним два часа. Потом, прощаясь, обнял его и крепко прижал к себе. И я знаю, что он все понял. Понял без слов.

Но это было в 1988 году, а пока шел год 1948, и я, опершись о перила главной палубы «Стефана Батория», смотрел вниз на толпу провожающих и напевал под нос совершенно бессмысленную песенку – из тех, которые почему-то в мгновение ока становятся безумно популярными, а потом, буквально с той же скоростью, уходят в Лету:

Mares eat oats and does eat oats
And little lambs eat ivey
A kid'll eat ivey too
Wouldn't you?..

Почему в поворотный момент я напевал эту чепуху? Почему я это помню по сей день? Не потому ли, что я, сам того не ведая, находился в состоянии глубокого шока? Мне кажется, что подсознательно я понимал: моя жизнь меняется самым драматическим и коренным образом. Да, я хотел уехать, это правда, но тем не менее внутри что-то ныло, какой-то голос говорил: «Прощай, Америка, здравствуй...» – что? И может, это было способом удержать равновесие?

Я мало что помню о путешествии на «Батории». Корабль приплыл в Саутгемптон, затем заходил в Гавр, Бремерхавен и Копенгаген, пока, наконец, не добрался до порта назначения – Гданьска. Пассажиры по своей разношерстности вполне соответствовали маршруту: тут были и англичане, и французы, и датчане. Я почти не видел ни немцев, ни поляков (если не считать команду). Мне очень приглянулись датчанки, но многие из них курили сигары, что противоречило моим юношеским представлениям о женственности. С тех пор я повзрослел настолько, что могу не моргнув глазом наблюдать за тем, как женщина закуривает «Монтекристо».



«Дядя Бийл», который не испугался ни ФБР, ни соседей

* * *

Женщина, курящая сигару, необыкновенно сексуальна, возбуждает воображение. Удивительно, сколько лет должно было пройти, прежде чем я понял это. Привитые нам с детства представления о том, что прилично, а что нет, крайне неохотно сдают свои позиции...

* * *

К значительным событиям этого путешествия относится то, что я впервые в жизни побрился. Я пошел на это вполне сознательно, решив, что моим старым друзьям не придется привыкать к моему новому лицу, а будущим не знакомо старое. Я хорошо помню бледную и несколько удивленную физиономию, которая после бритья и смывания остатков пены уставилась на меня из зеркала. Весь процесс прошел под бдительным оком и руководством моего отца.

Копенгаген запомнился мне игрушечным городом, теплым и приветливым, с покрытыми снежком улицами и позеленевшими от времени медными дверными ручками; в этом оживленном и мирном городке нам было позволено провести несколько часов. Но, несомненно, самые яркие воспоминания из этого путешествия относятся к войне, точнее, к ее последствиям: зияющие окна полуразрушенных стен, горы обломков и кирпичей, целые кварталы-призраки –

такими я увидел Гданьск и Варшаву. Это была совершенно другая планета. Планета, которая внушала мне отвращение. Такой мир пугал меня своей мрачностью, жестокостью, ощущением, что все увиденное – это навсегда. И я закрыл на это глаза, «закрыл» восприятие, говоря себе, что это не мое, что я мимо проходящий, меня это не касается. Я не хотел помнить об этом, но кое-что, словно оборванные картинки, застряло в паутине моей памяти, не предано забвению: гостиница «Бристоль» в Варшаве, бархатные красные ковровые дорожки и хрустальные люстры, свидетели других, роскошных времен; еда – вкусная, но вместе с тем грубоватая и тяжелая. И цены. Тарелка супа стоила десять тысяч злотых, карман оттопыривался из-за пачки денег, на которые можно было купить сухую ерунду. И еще помню одну из официанток в ресторане «Бристоль» – золотые кудри, пронзительные темные глаза, влажные красные губы и фигура богини из греческой мифологии. Я не мог оторвать от нее глаз, а отец, заметив это, расхохотался: «Польские красавицы очень опасны. Когда прочитаешь „Тараса Бульбу“ Гоголя, сам убедишься в этом».

В то время мы с отцом сблизились как никогда прежде. Еще больше сплотило нас одно идиотское происшествие, приключившееся со мной в Кракове. Я всегда ненавидел зоопарки и цирки. Мне по сей день не по себе при виде животных, томящихся в неволе или вынужденных выделывать разные фокусы.

И вот, будучи в Кракове, мы всей семьей в сопровождении польского знакомого моего отца пошли гулять в местный парк. Дело было в декабре, температура ниже нуля, но снег еще не выпал. Вдруг я увидел антилопу. Она стояла на небольшом островке выцветшей травы, окруженном, как мне показалось, асфальтовой дорожкой. «Вот это да! – подумал я, – настоящая живая газель, живущая на воле среди людей». Обрадовавшись, я бросился к ней, ступил на «асфальтовую дорожку», пробежал два шага и... провалился по подбородок в ледяную воду. На самом деле «дорожка» представляла собой ров, покрытый льдом – очень тонким, о чем, видимо, газель догадывалась: она даже не двинулась с места, просто смотрела на меня широко открытыми ласковыми глазами.

Папа вытащил меня, насквозь промокшего и дрожащего от холода.

– А ну, – сказал он, – побежали.

И мы побежали. Мама с польским приятелем поймали такси, а мы бежали и бежали, отец держался чуть сзади, не давая мне сбавить шаг, похваливая меня и подгоняя. Мы примчались в гостиницу и, не останавливаясь, взлетели на третий этаж к себе в номер, где я тут же разделся догола, и папа растер меня водкой до такого состояния, что вся кожа горела.

– Все будет хорошо, – сказал папа, – никакой холод не устоит перед разогретой кровью и хорошей водкой.

Он был прав. Все обошлось даже без намека на простуду. Вместе мы победили ее, и это сблизило нас.

Еще одно воспоминание того времени – варшавское гетто, вернее, то, что осталось от него. Я даже не буду пытаться описать его. Это было сделано не раз и не два людьми куда более талантливыми, чем я. Пустынность, кучи битого кирпича, завывание холодного ветра, невыразимая печаль этой картины остались со мной навсегда. Она порой возникает перед глазами, странным образом напоминая полотно Шагала: я слышу плач одинокой скрипки, одну бесконечную тянущуюся печальную ноту, извлекаемую медленно водимым смычком: вверх-вниз, вверх-вниз.

* * *

Я вернулся в Варшаву лет через шестьдесят, да и то на полтора дня, так что мне неизвестно, существует ли в виде памятника варшавское гетто. Хватило ли у поляков гражданской и исторической совести, чтобы увековечить его героизм? Сумели ли они таким жестом

хоть как-то воздать должное тем, кого сами веками презирали и преследовали и, по сути дела, при Гомулке выгнали до последнего из страны?

Двадцать лет тому назад, читая какой-то роман, я наткнулся на следующую историю. В 1492 году король и королева Испании Фердинанд и Изабелла издали эдикт, согласно которому все евреи были обязаны либо покинуть страну, либо принять католичество. В это время король Польши быстро сообразил, что эти изгнанные евреи могут ему пригодиться, и пригласил их переехать к нему на восток страны. Он гарантировал им свободу вероисповедания, возможность развития культуры и получения образования и так далее, но с одним условием: они должны стать сборщиками королевских налогов и сторожами православных храмов, двери которых они будут отпирать лишь для крещений и отпеваний. Условия были приняты. Так получилось, что в Польше ненавистный в принципе сборщик налогов и ненавидимый в восточных районах владелец храмовых ключей оказался к тому же чужестранцем и иноверцем. Когда в 1648 году вспыхнуло восстание Богдана Хмельницкого, были убиты сотни тысяч евреев, разграблены и сожжены их жилища, школы, синагоги. Немногие уцелевшие отвернулись от мира и ушли в схоластику, в изучение Талмуда, похоронив себя заживо.

Мне эта история показалась настолько невероятной, что я отправился к знакомому раввину и спросил его, правда ли это.

– Да, правда, – сказал он.

– Но как же они согласились собирать налоги и держать двери православных храмов запертыми?

– А какой у них был выход? В Испании их ждали костры инквизиции, в других странах Европы – разного рода преследования, а здесь им предложили сделку. И они пошли на нее. Ничего не бывает на пустом месте. Мне антисемитизм отвратителен что в Польше, что в России или где-либо еще, но бессмысленно пытаться найти выход из проблемы, если не знать ее истоков.

* * *

Последнее воспоминание. Мы находимся в варшавской квартире польского кинорежиссера, пригласившего моих родителей на чай. Меня отправили играть с девятилетним сыном хозяина. Игрушек у него совсем мало, но среди них я обнаруживаю металлическую коробку, в которой хранятся медали, военные награды. Я начинаю понимать, что его отец воевал в Красной Армии, против Гитлера – и он немедленно становится героем в моих глазах. Но почему же он позволяет сыну играть с этими священными медалями? Я задаю этот вопрос своему папе, но тот смущенно молчит. Отец же мальчика улыбается и с иронией говорит:

– Кому эти безделушки нужны?

Я не верю своим ушам, но вместе с тем понимаю по его тону, по взгляду, что он переживает, что за его небрежными словами кроется глубокое разочарование, – и начинаю злиться, я не хочу знать об этом ничего, я хочу уйти отсюда немедленно. Оглядываясь назад, я думаю, что это был, пожалуй, первый случай в моей жизни, когда я злился, столкнувшись с чем-то, противоречащим тому, во что я хотел верить. Первый случай, но далеко не последний. Мне предстояло встретиться с этим бесчисленное количество раз, мне предстояло наблюдать за тем, как это же чувство выводило из себя моего отца, как он терял над собой контроль, мне предстояло прожить много лет, прежде чем я научился справляться с этим.





Так выглядела школьная форма советских учащихся в Берлине.



Сотрудники «Совэкспортфильма» в Берлине встречают новый, 1950 год. Крайние справа – мама с папой

Мы провели в Польше около двух недель, а после уехали в Берлин. Я хорошо помню свое первое впечатление, когда поезд замер на перроне Остбанхоф: невероятное количество людей в военной форме. Они заполнили все пространство – советские офицеры в длинных зимних шинелях и папах, лица, будто высеченные из гранита и лишь изредка озаряемые улыбкой, которая обнажала не что никогда мною прежде не виданное – стальные 1949 г. зубы. Не знаю, чего я ожидал, но знаю совершенно определенно, что не этого. И я помню свою первую мысль: «Мне здесь не нравится». Мы прожили в Берлине четыре года, и не было дня, когда бы мне не захотелось оказаться в другом месте. С течением времени это чувство только усиливалось. Теперь, имея за плечами целую жизнь, я понимаю: тогда я это чувство глубоко в себе спрятал, запер за стальной дверью, отказываясь признавать его существование. Но оно жило и тихо меня сжирало. Эти четыре года – самые тяжелые в моей жизни.

Я рос, ненавидя немцев. Это не достоинство или недостаток, это факт. То, что переживал я, переживали тогда все подростки моего возраста, тем более это относилось к тем, кто, как и я, испытал немецкую оккупацию Парижа и силу антинацистских настроений в Нью-Йорке военных лет. Я ни слова не говорил по-русски и поэтому воспринимался советскими, жившими в Берлине, как немец. Мысль, что меня считают немцем, была невыносимой. Я убил бы того, кто назвал бы меня немцем. И однажды чуть не убил...

Скорее всего, это случилось в 1950 году. Для своего возраста я был довольно крупным юношей, особенно в сравнении с моими немецкими сверстниками, прошедшими лишения войны. Они были малого роста, тощие, слабые от недоедания. Один такой мальчик, звали его Клаус, иногда заходил к нам домой за своей девушкой – дочерью нашей уборщицы фрау Херты. Как-то я увидел, что он с завистью смотрит на мои боксерские перчатки – у меня было две пары, – и я спросил его, хочет ли он надеть их. Он хотел. Потом я спросил, не хочет ли он со мной побоксировать. Он согласился. Мы вышли с ним во двор. Все началось вполне нормально. Я не жаждал крови – по крайней мере мне так казалось. Но как только мы встали друг против друга, мне захотелось разорвать его на части, избить до полусмерти. Я был выше его на голову, тяжелее килограммов на десять и намного сильнее. Кроме того, я немного занимался боксом в католическом спортивном клубе в Нью-Йорке, он же не имел никакого опыта. Я и

сегодня не помню, что на самом деле произошло – сперва мы вроде баловались, а дальнейшее стерлось из памяти... И вот уже мама висит на моих плечах и что-то кричит, и я вижу белое окровавленное лицо Клауса. Если бы мама не увидела нас из кухни, не выбежала бы и не остановила меня, я убил бы его. На самом деле убил бы.

Клаус был ни при чем. Я убивал ненавистную Германию, я убивал обстоятельства, которые привели меня сюда, я убивал мою потерянность, мое непонимание того, кто же я – и не русский, потому что русские меня не принимают, и не немец, потому что я никогда с этим не примирюсь. Я убивал мое отчаяние, мою безысходность, я пытался поквитаться со злой силой, которая так изменила мою жизнь, и при этом ощущал свою полнейшую беспомощность. Тогда я этого не сознавал.



Мой первый советский друг в Берлине Геннадий Круглов. Канун 1950 г.

Оказалось, что я живу в лимбе – не с советскими (рай), которых я априори любил и любви которых я жаждал, не с немцами (ад), которых я ненавидел, но которые были готовы принять меня, – за что я ненавидел их еще пуще. Я существовал как бы между ними. Не там и не здесь. В лимбе. Может быть, это и привело к ощущению, что я вечно нахожусь где-то вонне, откуда вглядываюсь внутрь, наблюдаю и откладываю в память увиденное.

Я легко выискивал поводы для поддержания своей ненависти к немцам. Например, то, с каким подбострастием они разговаривали с советскими, и то, с каким высокомерием они обращались со своими немецкими подчиненными. Скардность, счет денег до последнего пфеннига, нежелание угощать друг друга, привычка платить приятелю за взятую у него сигарету; тупость немецкого туалетного юмора – все больше о говне и жопах; вульгарная громкость и агрессивность голосов, преклонение перед *Ordnung*, порядком, неважно каким, неважно, для кого и для чего, лишь бы был порядок; и еще глубочайшее почитание понятия *Verboten*. Если на двери написано «*Verboten*», то ни при каких обстоятельствах входить нельзя, и если по газону ходить «*Verboten*», ни в коем случае по нему не пойдешь, но главное-преглавное: никогда и ни в коем случае нельзя спрашивать, *почему* что-то *Verboten*. Бесило меня и то, как при знакомстве девочки делали *Knicksen* и как в ответ мальчики делали поклон головой и щелкали каблуками – я все ждал, когда они выбросят в салюте правую руку и заорут «*Heil Hitler!*!». Я ненавидел всех и каждого за то, что, разговаривая с советскими, они подчеркивали, что воевали исключительно на *западном* фронте, почти никто из них никогда не признавался в том, что

воевал на восточном, в связи с чем я жаждал спросить: кого же тогда Красная Армия разнесла на мелкие куски под Сталинградом? Но больше всего я ненавидел немцев за их якобы неведение. Концлагеря, говорите? В глазах полное непонимание. Какие-такие концлагеря? Газовые камеры? Да это все ложь, выдумки тех, кто хочет очернить немецкий народ. Печи? Разве что для выпечки хлеба, не более того.



В нашей берлинской квартире



Перед нашим домом. 1950 г.

Отец, как я уже упомянул, работал в «Совэкспортфильме», организации, созданной главным образом для продажи советских фильмов за рубежом и для закупки иностранных фильмов для советского зрителя. Но в оккупированной Германии главной целью было восстано-

ление местной киноиндустрии. Речь шла не о благотворительности. Давно известно, что кино – «важнейшее из искусств», потому что оно как никакое другое формирует взгляды, создает стереотипы, вырабатывает общественно принятые «плохо» и «хорошо», устанавливает нормы добра и зла. Самое убедительное свидетельство тому – Голливуд, сумевший не только донести до всего мира определенный облик Америки и американца, но и сформировать у самих американцев представление о том, кто они такие, что значит быть американцем и вести себя по-американски. Лучшая иллюстрация этого – Рональд Рейган; он сам себя воспринимал как героя-ковбоя, который, победив зло, скачет по бескрайним прериям и исчезает в лучах заходящего солнца. Кино – мощный идеологический инструмент, которым пользовались и пользуются во всем мире. Советскому Союзу было безразлично, какие фильмы будут смотреть в ГДР немцы и какие станут производиться в этой стране. Но беда заключалась в том, что немцы не ходили в кино. Не ходили не потому, что это было «Verboten», а потому, что не отапливались кинотеатры. За время войны отопительные системы либо разрушили, либо они сами вышли из строя. Надо было что-то придумать, каким-то образом сделать привлекательным посещение кинотеатра – и эту задачу поставили перед моим отцом. Он нашел решение – краткосрочное, но гениальное: договорился с советским военным командованием о том, что оно одолжит кинотеатрам столько шерстяных одеял, сколько в каждом зале имеется мест. Потенциальному посетителю одеяло будет предлагаться *бесплатно* на время сеанса. Бесплатно?! Mein Gott, разве можно отказаться от такого предложения? Народ повалил толпами. Но это решение было лишь временным. Следовало ввести в действие новые отопительные системы.

Отец стал объезжать кинотеатры ГДР. Как-то он оказался в древнем Веймаре, на родине Гете и других славных представителей немецкого искусства. Как обычно, он снял офис и опубликовал в местной газете объявление о том, что каждый день с восьми тридцати утра будет принимать специалистов по отопительным системам. На следующее утро ровно в половине девятого к нему постучались два немца средних лет (вероятно, они явились бы и в пять утра, будь в объявлении указано это время – Ordnung есть Ordnung). Они представились и сказали, что являются как раз теми специалистами, в которых он нуждается: инженеры-тепловики, причем потомственные представители фирмы, давно заслужившей уважение горожан. Они принесли с собой несколько чертежей и, хотя отец объяснил, что ему это совершенно не нужно, вынули один рулон из сумки и развернули на письменном столе. Надо сказать, отец мало что смыслил в отопительных системах, он в свое время работал звукоинженером на фирме MGM, но это имело мало общего с отоплением. Тем не менее он принялся рассматривать чертеж, и ему стало казаться, что на листе изображено нечто, к отоплению отношения не имеющее. Папа попросил двух господ помочь ему разобраться.

– Ах, герр Познер, – расплылся в улыбке один из них, – это на самом деле исключительный проект. Его заказало нам самое высокое начальство, самое высокое, сами понимаете. Мы очень этим гордимся. Мы считаем, что это – наше лучшее достижение.

Отца объяснение не удовлетворило. Он все-таки желал знать, в чем суть этого «лучшего достижения». И вскоре выяснил, что перед ним – рабочие чертежи печей для крематория Бухенвальда, концлагеря, расположенного на окраине Веймара.

Папа выгнал достопочтенных потомственных инженеров, пригрозив вдобавок, что если когда-либо встретится с ними вновь, добьется их расстрела. Они же, несомненно, сочли, что он сошел с ума. Как понять этого дикого неотесанного русского? Ведь они получили заказ и выполнили его наилучшим образом. Какие могут быть к ним претензии? Для чего должно использоваться то, что им заказали, – не их дело и не их ответственность, разве не так? Да, у этого русского явно не все дома.

Мне еще предстояло убедиться в том, что способность забывать, способность делать свою работу, не задумываясь о последствиях, черта не сугубо немецкая. Многие из нас, получая и выполняя указания, таким образом уходят от ответственности. Мы полагаем, что коль скоро

не будем задумываться о последствиях своей деятельности, они минуют нас. Это заблуждение. Они непременно найдут нас, не отстанут и будут мучить как отдельных людей, так и целый народ – и это тоже относится не только к немцам и Германии.

Среди немцев были люди, которые отдавали себе в этом отчет.

Некоторых я встретил, когда стал посещать специальную среднюю Немецко-русскую школу, созданную для детей немецких политэмигрантов, которые в свое время бежали от Гитлера в Советский Союз. Эти дети выросли в Москве. Когда во время войны они учились в советских школах, их дразнили «фрицами» и «фашистами», часто били, в результате чего они возненавидели свое немецкое происхождение. Теперь их привезли «на родину», как уверяли их родители, навсегда. Надо ли говорить, как они не хотели этого. Германия была им чужой, они к тому же плохо знали немецкий. Они были совсем малышами, когда их родители бежали, их родным языком стал русский. Школу создали, чтобы облегчить постепенное «вращание» этих ребят в немецкое общество. Многие предметы преподавались немцами на немецком языке в полном соответствии с программой немецкой средней школы. Но ряд предметов преподавался советскими учителями на русском, поскольку предполагалось, что по окончании десятого класса выпускники школы получают высшее образование в МГУ или ЛГУ, а уж потом вернуться в ГДР, чтобы занять ведущие посты в своей профессии. Когда мы приехали в Берлин в конце декабря 1948 года, еще действовали советские средние школы для детей совработников. Я начал учиться в одной из них – кажется, в седьмом классе. Но после весны 1949 года все советские школы были закрыты по решению советского правительства – не знаю точно, почему; кажется, советская молодежь вела себя слишком вольно, выходила из-под контроля, самовольно посещала Западный Берлин. Думаю, советские власти испугались «тлетворного влияния» Запада на молодые пионерские и комсомольские души и решили убрать их от греха подальше в СССР. Нам же в СССР ехать было воспрещено, мне негде стало учиться – вернее, я мог бы учиться в немецкой школе, но категорически отказывался от этого. Тут и подвернулась Немецко-русская школа, в нее меня и определили. Именно там я встретился с «другими» немцами, с теми, чьи родители боролись против Гитлера, попали в гитлеровские концлагеря, но сумели вырваться оттуда. Это были люди, которым скоро предстояло стать лидерами новой Германии, лидерами Германской Демократической Республики. И дети их, как я уже сказал, должны были получить соответствующую подготовку, включая высшее советское образование, чтобы затем вернуться и занять руководящие посты – чего не случилось. По иронии судьбы их воспринимали в ГДР как чужих, их недолюбливали те, кто в Германии родился, вырос, окончил там школы и университеты.



Мама с Антониной Михайловной, женщиной, с которой у меня случился первый роман. 1950 г.

Не могу сказать, что школа эта мне не нравилась. Но и не скажу, что чувствовал себя в ней хорошо. Я приезжал в девять утра, уезжал в три – и точка. В Нью-Йорке после школы мы скопом шли в кино или в Вашингтонский сквер, чтобы поиграть в мяч либо подраться с чужаками из других школ, по воскресеньям уезжали играть в бейсбол или приглашали друг друга в гости. Кажется, я несколько раз ходил в поход с моими немецко-русскими одноклассниками, у кого-то побывал на дне рождения, но в общем и целом мы жили отдельно, они – в немецкой среде, я – с родителями и вне какой бы то ни было среды. За одним исключением. Со мной в классе училась девушка, звали ее Лорой – в честь Долорес Ибаррури, знаменитой «Пассионарии» испанской гражданской войны против Франко. Ее отец, венгерский хирург, погиб в Испании, служа республиканской армии. Ее мать, одна из самых красивых, теплых, умных и добрых женщин, которых я когда-либо встречал, вышла замуж вторично – уже по возвращении в Германию. Ее муж Вилли, немецкий коммунист, отсидевший много лет в концлагере и чудом оставшийся в живых, был офицером и служил в органах безопасности ГДР – в печально знаменитой «Штази». В дальнейшем он занимал высокие посты в этой организации. Честный и принципиальный, он через несколько лет застрелился, и, узнав об этом, я, с одной стороны, был потрясен этим известием, но с другой – не очень этому удивился.

Человек убежденный, человек, преданный делу, способен выстоять в самых бесчеловечных условиях – он не ломается под пытками ни физическими, ни моральными, не уступает тщательно рассчитанному безумству концлагеря, сохраняет силу духа даже тогда, когда его уничтожают изуверскими методами. Но отнимите у него дело его жизни, лишите его веры – и

этот человек развалится на мелкие части, самоуничтожится – в том числе и буквально, как в случае с Вилли. Другие уйдут в пьянство, в насилие, но так или иначе потеряют свое нутро. Возможно, именно это отличает нас от животных? То, что мы не можем жить без веры.



В русско-немецкой школе. 1951 г.



Урок анатомии ведет Надежда Исидоровна Жаркова, благодаря которой я решил стать биологом. 1951 г.

* * *

Не понимаю, почему я так куце написал об этой школе и о тех, с кем я там подружился. Школа на самом деле была замечательная, хотя учился я в ней, к сожалению, не в полную силу – ходил только на «русские уроки», которые требовались мне для получения в дальнейшем аттестата зрелости.

Русский язык и литературу преподавала выпускница филологического факультета МГУ им. Ломоносова Эдель Яковлевна. Она была замужем за крупным чиновником МИДа ГДР. Эдель Яковлевна отличалась тонким умом и блестящим даром рассказчика, думаю, что именно она разбудила во мне подлинный интерес к Пушкину и Лермонтову.

Анатомию преподавала жена крупного советского военного чина Надежда Исидоровна Жаркова. Если бы не она, я не принял бы решения стать физиологом и, словно второй Павлов, исследовать тайны человеческого мозга.



Наша берлинская футбольная команда. Я – крайний справа, мой брат Павлик, второй слева, страшно хочет кое-куда. 1951 г.

Все другие предметы я пропускал – и совершенно напрасно. Мое нежелание иметь дело с чем-либо немецким было настолько безрассудным, насколько безрассудным может быть поведение семнадцатилетнего юноши. Вспоминая то время, я сожалею о том, что не нашлось человека, который отвел бы меня в сторону и объяснил, что знание немецкого языка не имеет ничего общего ни с нацизмом, ни с Гитлером, что оно очень и очень пригодится мне в жизни. Как жаль, что не было Кассандры, которая шепнула бы мне в ухо: «Сама судьба дает тебе возможность выучить немецкий, воспользуйся этим! Тебе, именно и прежде всего тебе это нужно, как никому другому, поверь мне!» Кассандры, которая предупредила бы меня о том, что когда-нибудь в Германии будут жить мои самые близкие, самые любимые люди, и, приезжая к ним, я не смогу общаться с их близкими и друзьями, потому что не воспользовался предоставленной мне возможностью. Carpe diem, carpe diem!¹⁴

¹⁴ Carpe diem – лат. букв. «срывай день», т. е. пользуйся настоящим днем, лови мгновение (из Горация).

Я очень хорошо помню тех, с кем учился. Был класс девятый – самый старший, состоявший чуть ли не из пяти учеников: Ули, Герды, Вилли, Ильи и Тамары. В нашем восьмом классе учились Рувим, Борис, Карл, Ютта, Лора (Долорес) и я. Ни с кем из них я особенно не дружил, если не считать Лоры, она часто бывала у меня дома, а я – у нее.

Внешне Лора была типичной венгеркой, вся в отца: высокие скулы, чуть треугольный рисунок лица, прямые, почти черные волосы и темно-карие глаза. Мы много общались и постоянно что-то горячо обсуждали... не помню, что именно, да это и не имело значения. Думаю, мы были слегка влюблены, хотя ни разу даже не поцеловались. По окончании школы Лора уехала учиться на филфаке ЛГУ и вскоре там, в Ленинграде, вышла замуж. Как-то мельком я увидел ее в Москве – это было в конце пятидесятых. Потом, если мне не изменяет память, в конце шестидесятых в Берлине. И последний раз где-то в 2005-м. Она вышла встретить меня к станции «S-Bahn», опасаясь, что я не найду ее нового адреса и даже ее не узнаю – ведь прошло больше тридцати лет. Волновалась она напрасно. Я Лору узнал бы в любом случае – по посадке головы, по выражению лица, а что до седины, так это вообще не в счет. Жива ли она? Не знаю. В Берлине бываю раз или два в году, у меня есть ее телефон, но не звоню. Не могу объяснить себе, почему. Отчего-то страшно.

* * *

В Немецко-русской школе я проучился два года. Для дальнейшей учебы в Союзе мне нужен был советский аттестат зрелости. Поэтому, закончив там восьмой и девятый классы, я перешел в советскую вечернюю школу при полевой почте – школу, созданную для советских офицеров, старшин и сержантов, учебу которых прервала война. Но если в Немецко-русской школе я был чужим, то в новой стал чужим вдвойне. Всем «ученикам» было хорошо за двадцать, а то и за тридцать, все они прошли через огонь и ад войны. Мы происходили из совершенно разных миров —и все же, к моему удивлению, с ними мне было проще и легче, чем с прежними соклассниками. Связано ли это с тем, какими вышли они из неопишуемого ужаса войны, смерти и разрухи? Было ли это благодаря сплаву гордости и мудрости, привнесенных в их души победой? Не знаю. Но этих людей, людей жестких и невероятно выносливых, отличало такое чувство сострадания, такая нежность, каких я не встречал ни до, ни после. В отношении меня они выражали их весьма своеобразным образом.



Лора Бейр, моя одноклассница, в которую я был тайно влюблен. 1951 г.



Общезитие МГУ на улице Стромьнка, где проживали мои друзья по берлинской русско-немецкой школе. Я – второй справа в верхнем ряду.

Я еще плохо говорил по-русски. Как-то на уроке физики учительница вызвала меня к доске, чтобы я прочел классу, что написано в учебнике о свойствах соленоида (такой проводник, вокруг которого при пропускании через него электрического тока создается электромагнитное поле). Слово «соленоид» по-русски произносится как «соленойд», но поскольку в конце

стояла буква «и», я прочитал: «со-ле-но-ид» – с ударением на последнем слоге. Тут один из офицеров засмеялся, и мне захотелось провалиться сквозь пол. Я покраснел и даже вспотел от нестерпимого чувства стыда и неловкости, я мечтал, чтобы обвалился потолок и всех нас похоронил. Наступила полная тишина. И тут один из офицеров встал и рывкнул мне: «Выйди!» Низко опустив голову, я покинул класс и, закрыв за собой дверь, замер. Я был раздавлен. И тут услышал взрыв. Нет, не в буквальном смысле. Это был взрыв словесный, точнее говоря, матерный. Русское сквернословие исключительно красноречиво и богато – я говорю это как любитель жанра, вполне владеющий им, и не только по-русски. Но бурный поток, мощно разливающийся за дверью, виртуозность и мастерство, которые демонстрировал вставший на мою сторону офицер, были, конечно, достойны кисти Айвазовского.

Моему насмешнику сообщили, что все его родственники, начиная с матери и кончая бабушками, дедушками и более давними предками, были, судя по всему, людьми недалекими. Далее ему указали на то, что даже среди них он считался бы... как бы это сказать... глупым; что абсолютно невозможно понять, каким образом он дослужился до офицерских погон, и кстати, коль уж упомянули погоны, посоветовали, что именно он с ними может сделать. Разбор бедного капитана был донельзя подробным и касался всего: его привычек, выражения лица, походки, манеры говорить – все это подверглось детальнейшему рассмотрению, всему была дана точная оценка. Это продолжалось около четверти часа. Затем наступила тишина. Открылась дверь, и офицер, который выставил меня, пригласил меня войти. Предмет общего обсуждения стоял в середине класса совершенно бледный. Он подошел ко мне, протянул дрожащую руку и с трудом выговорил:

– Володь, извини меня, пожалуйста. Я был не прав.

Тут все остальные – а их было человек тридцать – окружили меня, стали хлопать по спине, жать руку, пока наша физичка, привлекательная блондинка лет тридцати, не подняла голову от книги, которую якобы читала в течение всего этого времени, и не произнесла абсолютно спокойным голосом:

– Итак, свойства соленоида. Познер, идите к доске.

Возможно, кому-то описанное покажется странным примером тонкости и понимания, но только не мне. С того самого дня я начал чувствовать, что все эти мужики подчеркнуто обращаются со мной как со своим. Правда, иногда это влекло за собой непредвиденные последствия, и одно из памятных мне событий такого рода – когда я впервые в жизни напился. Как-то днем в советском военном городке в Карлсхорсте я встретил старшину, который учился вместе со мной в вечерней школе. Он спросил меня, чем я занят, я ответил, что ничем, и он предложил мне пойти с ним перекусить в солдатскую столовую. Время было обеденное, я согласился. Правда, несколько опасался того, что он предложит мне хлопнуть по рюмочке, ведь я уже знал: у русских «хлопнуть по рюмочке» – чистейший эвфемизм. Опыт русского застолья убедил меня в том, что русский человек может перепить любого другого, в том числе и инопланетянина. Я испытывал определенную робость, но не могло быть и речи, чтобы обнаружить ее перед старшиной Ковалевым. «Пошли», – подчеркнуто небрежно сказал я.

Мы быстро дошагали до столовой, где Ковалев усадил меня за столик и отошел, пообещав скоро вернуться. И в самом деле, он тут же появился с подносом, на котором красовалась бутылка «Московской особой», два граненых стакана, тарелка с черным хлебом и тарелка с двумя сваренными вкрутую яйцами. Поставив поднос на стол, старшина откупорил бутылку, виртуозно разлил водку так, что оба стакана оказались заполнены совершенно одинаково до образования «мениска», затем почистил яйцо (то же сделал и я), макнул его в солонку, взял стакан, картинно отставив мизинец, чокнулся со мной, сказал: «Ну, будем», – выдохнул и залпом опустошил, после чего отправил яйцо целиком в рот, откусил кусок хлеба и принялся энергично жевать. Я застыл, глядя на него в полном изумлении. Ковалев поднял брови и спросил: «Ну, ты что? Пить будем?» Я до сего дня не знаю, как удалось мне выпить этот стакан.

С яйцом же никаких проблем не возникло, поскольку я когда-то выиграл спор, засунув одновременно в рот пять слив (после чего потребовалось внешнее вмешательство, так как я не мог ни прожевать их, ни вынуть). «Молодец, – похвалил меня старшина и хлопнул по плечу, затем посмотрел на часы и сказал: – Ну, мне пора».

Я остался один. Совершенно не помню, как я добрался до дома. Очевидно, на автопилоте. Но зато в памяти остались воспоминания о той части дня, которую я провел в обнимку с унитазом, и о том, как меня выворачивало наизнанку всю ночь.

На старшину Ковалева я зла не держу. Ведь он просто хотел, чтобы я почувствовал себя своим, хлопнуть по рюмочке – это был его способ дать мне знать, что мы товарищи.

* * *

Еще один пример, дорогой моему сердцу. Был один офицер-пограничник – кажется, звали его Вадимом, – который решил выучить меня русскому языку. Происходило это у него на квартире за чаем, который готовила нам его жена Манюня.

– Володь, – начинал он, пытливо и чуть насмешливо поглядывая на меня, – объясни разницу между рябью и зыбью.

– Ну, – неуверенно отвечал я, – рябь это... – И показывал руками, что такое рябь.

На это Вадим незлобиво замечал:

– А хули ты руками размахиваешь, ты говори по-русски!

После чего и он, и Манюня хохотали в голос.

* * *

Правда, не все мои советские знакомые были такими, как старшина Ковалев или другие офицеры из моего класса. Многие держались от нас подальше, опасались знакомства с нами, и мне это абсолютно понятно – я знаю теперь, как опасны были в Советском Союзе любые контакты с иностранцами. Некоторые даже относились к нам враждебно. Но были и дружелюбно настроенные, и еще такие, которые всячески подчеркивали свою дружбу, размахивая ею, словно флагом. И все-таки все они сходились в одном, причем я пытался не замечать этого, но тщетно: они были *другими*. Отличными от моих американских знакомых, от русских, которых я знал в Америке, детей русских интеллигентов, бежавших от большевиков в 1918—1922 годах. Более всего меня расстраивало то, в чем выражалось это отличие. Их происхождение – как правило из низов – оставляло след на всем: на поведении за столом, на речи, на вкусах. Большой частью они прожили жизнь, полную таких лишений, о которых я не имел даже приблизительного представления. Послевоенная, полуразрушенная Германия чудилась им рогом изобилия, сосредоточением сказочных богатств. Подавляющее большинство из них никогда не знало роскоши, отдельной квартиры, а здесь, в Берлине, представители «Совэкспортфильма» занимали целиком первый или второй этаж отдельного двухэтажного дома. Мне Берлин казался пустынным, ничто не привлекало мое внимание ни на улицах, ни в магазинах, еда была грубоватой, выбор – мизерным, все отпускалось по карточкам. Для них же каждый день был сродни нескончаемым новогодним праздникам. Я часто задавался вопросом: о чем думали они, победители, видя, что побежденные живут лучше, чем жили они *даже до войны*? Как объясняли они себе это?

Вероятно – хотя бы у некоторых – возникали сомнения. Сорок лет спустя, когда я работал над телевизионным документальным фильмом с Валентином Бережковым – личным переводчиком Молотова, а затем Сталина (с 1940 по 1944 год), он сам ответил на этот вопрос: «Причина, по которой Сталин возобновил политику репрессий и террора, в значительной степени объясняется миллионами советских солдат и офицеров, которые собственными глазами

увидели, как живут люди в других странах – в Австрии, Норвегии, Венгрии, Чехословакии, Польше, Германии. В какой-то степени это напоминает то, что произошло в России в результате Отечественной войны 1812 года. Вспомните: русская армия, возглавляемая блестящими молодыми офицерами, побеждает Наполеона и оказывается в Париже. Да, многое во Франции изменилось с 1789 года, но революционный дух все еще чувствуется. И он сильнейшим образом повлиял на этих молодых аристократов, тех самых, которые возглавили восстание декабристов в 1825 году, когда царизму в России чуть-чуть не пришел конец. А теперь подумайте о войнах советского времени. До войны они жили в обществе, в котором любая инициатива была наказуема, где всем управляла партийная бюрократия, где каждый шаг, каждое решение контролировались и разрешались только вышестоящей инстанцией, а уже это решение рассматривалось следующей инстанцией и так далее. И вот случилась война. И она странным образом людей раскрепостила. Потому что война требовала мгновенных решений, творческого подхода, самостоятельности. Каждая минута была на счету, время становилось решающим фактором – и это стали очень быстро понимать буквально все. Хочешь не хочешь, но солдаты, офицеры должны были принимать решения с ходу, это не только разрешалось, это поощрялось. Вдруг они стали вести себя как свободные люди – и возникло в связи с этим чувство собственного достоинства, чувство гордости. Если когда-то они стояли согбенно с опущенной головой в ожидании приказа и удара, теперь они выпрямились, высоко держали голову, отдавали себе отчет в том, что это они победили в войне. Сталин не мог не видеть в этом опасности для своей власти. Не надо забывать и о том, что мы-то и в самом деле верили своей пропаганде, внушавшей нам уверенность, что наш уровень жизни – самый высокий в мире, что денежные мешки в мире капитала утопают в богатствах, но рабочий люд испытывает лишения и отчаяние. Мы верили в это, никогда не сомневались. А тут – на тебе, после семи лет войны, после зверских бомбежек и артиллерийских обстрелов, после войны на два фронта и безоговорочной капитуляции, после всего этого рядовой немец хранит в подвале целые окорока и колбасы, живет в отдельной отапливаемой квартире, у него есть электричество, горячая вода и – подумать только! – свой собственный телефон. То есть он живет значительно лучше, чем жили многие так называемые обеспеченные советские люди еще до войны, уж не говоря о том, как они стали жить после. Не могли не возникнуть у них вопросы: как же так? Почему? Сталин понимал, куда может привести ответ на эти вопросы. И думаю, с его точки зрения опасность можно было отвести только одним-единственным способом. Надо было сломить этот новый дух, нужно было заставить людей забыть эти вопросы, надо было создать атмосферу ксенофобии, страха и подозрительности. Что и было сделано». Думаю, Бережков прав.

* * *

Приведу еще одно свидетельство, переданное мне генералом-лейтенантом Иосифом Иосифовичем Сладкевичем, командовавшим во время войны танковым корпусом, бравшим Берлин. Он родился на Украине, во время Гражданской войны совсем мальчишкой стал бойцом в войсках Котовского, был советским до мозга костей, умницей, замечательным рассказчиком, хотя грассировал и не выговаривал букву «л». Вот его рассказ:

«Понимаете, Воюдя, когда мы погнају немцев и воиши в Поушиу, я увидеу беёзы и обаудеу. Я-то думау, что беёзы уастут тоуко у нас, в Уоссиш. Ну, уадно. Дауше, воиши в Геуманию. И что мы видим? А то, что у них нет коммунауных кваутиу. То, что во всех кваутиуах есть теуефоны. То, что у них в подвауах висят коубасы, сыуы. И это в конце войны, котоую они пуюиуауи! А живут-то, живут-то так, как мы не могуи мечтать! Это как надо понимать?! Выходит, вуауи нам, когда говоуиуи, что в Советском Союзе самый высокий уовень жизни, что мы живем учие всех! Значит, нас обманывауи?! Своуочи!»

* * *

Но тогда, в конце сороковых и начале пятидесятих, ни о чем таком я не думал. Более того, если бы кто-нибудь предложил мне подобную теорию, я отверг бы ее с полным возмущением. Я был, как говорят французы, бóльшим католиком, чем римский папа. Пожалуй, я не имел альтернативы, моя вера, моя убежденность являлись моим спасательным кругом, только благодаря им я не утонул в штормовых водах, куда меня бросила судьба. Несоответствие между моими ожиданиями и той реальностью, с которой я встретился, предлагала мне выбор: либо признать, что такое несоответствие есть *на самом деле*, и сознаться себе в том, что я заблуждался, когда поверил некоторым утверждениям, сделать выводы и начать жизнь заново; либо закрыть на все глаза и отмахнуться от очевидного.

Я выбрал последнее. Поступить иначе я не мог – уж слишком тяжело это было для юноши, вырванного из своей привычной среды и пытающегося встроиться в новую. Я не ищу оправдания, но мое решение «не видеть» не представляло собой исключения. По сути дела, так поступали почти все, кто поддерживал Советский Союз, кто был сторонником социализма, причем я говорю о вполне взрослых мужчинах и женщинах, о людях, занимавших солидное положение в своих странах, в своем обществе. Они не хотели ни видеть, ни признавать никаких недостатков советского строя, они отвергали любую критику в адрес СССР. Это были люди с менталитетом круговой обороны – ибо требовалось немалое мужество, чтобы оставаться про-советским как в довоенные, так и в послевоенные годы. Имелся только один способ устоять против антисоветской канонады: сомкнуть ряды, не уступать ни на сантиметр, ни на йоту – ведь шаг назад интерпретировался как капитуляция. Странная логика? Да, странная, но все же логика, которая, кстати говоря, подтвердилась не раз и не два, когда коммунисты на Западе, узнав о преступлениях Сталина, стали не только осуждать Советский Союз, но и выходить из партии и занимать активную антикоммунистическую позицию.

Мой мир был черно-белым (скорее, красно-белым). Мир без оттенков: прав – не прав, хорошо – плохо, друг – враг. Никакой неопределенности. Я являлся горячим приверженцем «ясности», аксиом, одной истины. На самом деле моя правда была не столь ясной, сколь поверхностной, не столь аксиоматичной, сколь упрощенной. Я обожал подкреплять свои доводы цитатами типа: «Достаточно для всех, лишнего – никому» (Робеспьер), «...Тот, кто сегодня... не с нами, тот – против нас» (Маяковский), «Если враг не сдается – его уничтожают» (Горький). Я был экстремистом, и мое видение мира отличалось тем, что характерно для всех экстремистов: односторонностью, однобокостью. Англичане называют это «туннельным видением». Нельзя сказать, что у экстремистов нет идеалов, они есть, часто весьма благородные, – и ради них они не моргнув глазом совершают самые отвратительные преступления. Для меня слово «идеал» не обязательно означает нечто *благородное* – кстати, понятие тоже не однозначное; я имею в виду стремление человека к достижению определенной цели, составляющей для него смысл жизни.

Всегда ли хорош экстремизм, всегда ли плох – не мне судить. Даже если бы мой авторитет позволял мне высказать такое суждение – что с того? Экстремизм – это некое состояние ума, которое переживают все или почти все, особенно в молодости. Кое-кому удастся преодолеть его, иным – нет, но пока жив человек, будет жив и экстремизм. Полагаю даже, что невозможно добиться некоторых вещей без экстремизма. Скажем, революции. Всего того, что требует от человека полной отдачи без оглядки и без размышлений о возможных последствиях. Начинаешь думать над всеми этими «да, но...», «а что, если...», «возможно, однако...» – и прощай достижение немедленных результатов. В некотором смысле у экстремизма есть свои плюсы. Однако он страдает тяжелейшими пороками, в какой-то мере в нем самом заложены семена его поражения. Экстремист конечно же никогда не признается в том, что он – эскапист, что

на самом деле он бежит от сложностей, избегает их. Он ищет «простых» решений. Например, самый простой для него способ борьбы со страшным преступлением, с убийством – это смертная казнь. Такой взгляд разделяет большинство – думаю, всемирный опрос общественного мнения подтвердил бы это. Но вся история человечества доказывает, причем окончательно и без сомнений, что смертная казнь проблему не решает. Можно даже сказать, что, напротив, обостряет ее.

Вспомним Алеко, центральную фигуру пушкинских «Цыган». Он убивает Земфиру за то, что она изменила ему. В «нормальном» обществе Алеко был бы арестован, судим и приговорен к смертной казни – к расстрелу, повешению, газовой камере, отсечению головы. Цыгане же подвергают его остракизму. Для них он перестает существовать. Они избегают его, он ими отринут, потому что, убив человека, он убил человека в себе. Если бы общество в целом так реагировало на убийство, сами убийцы заканчивали бы свой путь самоубийством. Но такое поведение требует от общества готовности рассматривать сложные материи, не упрощать, а большинство из нас не готово к этому. Мы вверяем некоторым людям право принимать законы, другим – право эти законы интерпретировать, третьим – право эти законы применять. Мы наделяем Власть правом убивать, тем самым как бы говоря Алеко: ты можешь убить, но в ответ будешь убит сам. Чисто экстремистское решение. Оно ничего на самом деле не дает, а лишь создает иллюзию того, что найден идеальный ответ. Это удобно, мы к этому привыкаем, простое решение становится своего рода умственным наркотиком.

Берлин конца сороковых и начала пятидесятых был идеальным местом для экстремистского процветания, ведь именно в этом городе сосредоточились контрасты, крайности, непримиримые взгляды, которые сделали его тем, чем он стал: городом, разделенным на Восток и Запад не только географически, но экономически и идеологически. Еще предстояло появиться Берлинской стене... Будь моя воля, я распорядился бы стену сохранить полностью на веки вечные в качестве трехмерного памятника идиотству и бесчеловечности менталитета холодной войны. (Берлинская стена – по-своему памятник ничуть не менее грандиозный, чем Великая Китайская стена, которую сегодня славят как великое инженерное достижение, хотя на самом деле она была построена с целью защиты Поднебесной от варваров; стену Берлинскую возвели с целью... Впрочем, предлагаю вам, уважаемый читатель, закончить это предложение так, как сочтете нужным.) Я попал в Берлин во время знаменитой блокады этого города советскими войсками. Каждые три минуты над нашим домом пролетал американский транспортный самолет, битком набитый товарами и продуктами; в скором времени Западный Берлин стал сияющей витриной, созданной, чтобы доказать превосходство западной демократии над коммунистическим тоталитаризмом, заморозить жителей Восточного сектора и побудить к переходу на Запад как можно большее их число. Нельзя сказать, что борьба была равной. Советский Союз никогда не придавал особого значения легкой промышленности, а то немногое, что все же было построено до 1941 года, лежало в руинах. Приходится напоминать, что в этой войне страна потеряла одну треть своего национального богатства, было уничтожено тысяч семьсот городов и поселений, сорок тысяч деревень, до двадцати пяти миллионов человек лишились крова. Соединенным же Штатам война принесла неслыханные дивиденды. Да, были людские потери – почти в сорок раз меньшие, чем у СССР. Но ни одна бомба не упала ни на один американский город. И впервые в истории Америки полностью исчезла проблема безработицы – война оказалась решающим фактором в преодолении последствий Великой депрессии, именно война, а не политика «новой сдачи» Франклина Рузвельта.

Америка вышла из войны куда более богатой, чем была до ее начала. Не забудем и о том, что уже тогда это было общество потребления, и ему не составило труда завалить Западный Берлин товарами, стимулируя экономику и промышленное производство. Советский Союз не мог, даже если бы захотел, но в том-то и дело, что и желания такого не было, не позволяла идеология. Поражение было безусловным. Западный Берлин и Федеративная Республика Германия

в целом оказались необычайно привлекательными – и ручеек беженцев с Востока вскоре превратился в ручей, а потом и в бурный поток. Перед Германской Демократической Республикой возникли серьезные экономические проблемы – проблемы людских ресурсов. И решением стало возведение Берлинской стены. Очередное «простое», экстремистское решение. С одной стороны, так была ликвидирована проблема экономического оттока, с другой – это породило проблемы куда более сложные и серьезные – и в смысле того, как стена повлияла на взгляды восточных немцев, и в смысле того, какое разящее оружие получили в руки антикоммунисты во всем мире. Экстремизм в худшем виде.

* * *

Более всего меня поражает, что по сей день есть немцы, которые оправдывают построение стены. Они утверждают, что это был единственный способ сдержать то, что грозило превратиться в цунами беженцев. При этом не задаются вопросом, почему люди бежали с Востока на Запад, а не наоборот? Не ставится под сомнение право власти насильственно удерживать своих граждан. И главное – итог. Что дала Берлинская стена? Если положить на весы истории, с одной стороны, ее экономический эффект для ГДР, а с другой – ее разрушающий идеологический эффект для всей страны, а также разорванные семьи, посаженные в тюрьму и убитые при попытке перелезть через стену люди, – что перетянет? Символом чего остается Берлинская стена? Сталинизма?

* * *

Жизнь в Берлине вынуждала меня как никогда прежде определиться: с кем я? Конечно, в Америке я принимал ту или иную сторону, но здесь было другое дело. Это больше напоминало деление класса на две стороны – подрались, однако все остаются членами класса, школы, чего-то большего, к чему мы все принадлежим, несмотря на частные разногласия. Но все теперь выглядело иначе. Теперь я принадлежал к чему-то совсем иному. Американские солдаты, дежурившие на переходе из Западного в Восточный Берлин, – на «чекпойнт Чарли», как они его называли, – внушали мне страх: они теперь были *не наши* (как?) и поэтому их следовало бояться. Помню, я как-то поехал на «S-Bahn», о чем-то задумался и вдруг понял, что проехал свою остановку и оказался в западном секторе Берлина. Я выскочил из вагона, пошел пешком в сторону советского сектора и вдруг заметил, что мне навстречу движутся двое полицейских. Сердце застучало, я разом вспотел. У меня на голове была фуражка с красной звездой, и я не сомневался, что полицейские меня сейчас же арестуют (хотя немцы не имели права задерживать кого-либо из оккупационных сил). Они прошли мимо, не удостоив меня взглядом, а я безо всяческих приключений вернулся в «свой» сектор. Чего я боялся? Не могу сказать. Может быть, дело в том, что подсознательно я стремился стать членом моей новой «команды», той, которая не очень-то выражала желание принять меня. Может, я при этом пытался отказаться от себя прежнего. Этот новоявленный страх перед американскими солдатами, мои антиамериканские взгляды скорее всего родились в результате моего отчаянного желания отринуть свое прошлое и стать «новым».

Несмотря на внутренний раздрай, несмотря на все, что разрывало меня на части, из отрока я становился юношей. Мне шел пятнадцатый год, когда мы приехали в Берлин, и девятнадцатый, когда мы уехали. Даже при полном благополучии это сложные годы – годы растущего напряжения между детьми и родителями, годы, требующие от родителей любви, понимания, тактичности. Моя мама сдала этот экзамен с блеском. Отец же его провалил.

Когда я был совсем мальчишкой, а потом подростком и затем – молодым человеком, папа рассказывал мне о своем петербургском детстве. Особенно выпукло в этих рассказах выглядели обе его бабушки...



Моя прапрабабушка Мария Перл

Бабушка Перл, со стороны его матери, родилась в Кронштадте. Морская крепость, прикрывающая подходы к Санкт-Петербургу со стороны Финского залива, Кронштадт, был населен преимущественно военными. Каким образом родилась там моя еврейская прабабушка – одному богу известно (*много позже я выяснил, что в Кронштадте будто бы была синагога, что там жило очень небольшое количество евреев – бывших матросов, отставных морских чинов и ремесленников*). Для меня образ Кронштадта, базы прославленного Балтийского флота, всегда был связан с приключениями, смелостью, отчаянным риском, романтикой морской братвы, которой сам чёрт не брат. Все эти черты были присущи бабушке Перл – по крайней мере так выходило из рассказов моего отца. Чертовски обаятельная и хорошенькая, она не боялась ничего и отличалась исключительной независимостью. Порядки в обществе царили патриархальные, но ей все было нипочем: она мужчин обводила вокруг пальца, воевала с ними не их, а своим оружием – лъстя, уговаривая, посмеиваясь, но так, что смеялись они сами, – и всегда добивалась своего легко и незаметно, и они сами не успевали понять, что же произошло. Когда она входила в комнату, казалось, становилось светлее, ее всегда сопровождали смех, радость и любовь. Дети обожали ее, в том числе и мой отец. Слушались ее беспрекословно, хотя она никогда не повышала голоса, никогда не читала нотаций, никогда никого не наказывала.



Моя бабушка Елизавета Перл

Бабушка Познер была совершенно другой. Высокого роста, ширококостная, с сильными мускулистыми руками и громадными ладонями, эта мужеподобная женщина с волосами стального оттенка, затянутыми в узел на затылке, являлась антитезой бабушки Перл. Если одна отчаянно и с удовольствием флиртowała и вовсе не считала зазорным показаться в глубоком декольте и временами на мгновение обнажить лодыжки, то другая всегда одевалась в черные до пола платья с длинными и застегнутыми до запястья рукавами и с высоким, закрывавшем шею, белым кружевным воротником. Это была «форма», которую она надевала по утрам – но только проверив, хорошо ли умылись все семеро ее детей. Ежеутренне она неизменно выстраивала их в ряд и, стоя перед ними в исподнем, надзирала за их утренним туалетом. Этот ритуал включал тщательный осмотр ногтей, а затем выворачивание (весьма болезненное) ушей на предмет обнаружения малейших следов неумытости. Когда выросли ее дети, она переключила свое внимание на внуков и внучек, в том числе моего папу.

Как-то он попросил еще немного киселя, не дождавшись, пока ему будет предложена добавка. Шел обед. Огромная рука бабушки Познер схватила его за ухо и вывела в кухню, где распорядилась поставить перед ним гигантскую миску с киселем. Папе было сказано, что ему не позволят выйти, пока он не съест всю миску, приготовленную человек на десять-двадцать. Папа старался изо всех сил, но потерпел сокрушительное поражение. Обильно полив слезами кисель, до той минуты обожаемый, он возненавидел его на всю жизнь. Так учили папу «хорошим манерам», в частности, тому, что не положено просить добавки, пока тебе ее не предложат.

Другая история касается какого-то блюда – кажется, рыбы, которую папа не любил. Когда он сообщил об этом, ему было предложено выйти из-за стола. Он так и сделал, а на ужин получил тарелку с той самой рыбой, от которой отказался за обедом (все остальные, разумеется, ели свежеприготовленные к ужину блюда). Папа снова отказался от рыбы, и ему вновь предложили выйти из-за стола. Наутро на завтрак папа опять получил свою рыбу. Он был голоден, расстроен, несчастен, ему шел всего девятый или десятый год. Он горько заплакал, и тогда бабушка Познер объяснила ему, что коль скоро кто-то приготовил для тебя еду, ты обязан съесть ее.

Я был в восторге от этих рассказов, хохотал, будто безумный, представляя, как эта старая карга выворачивает ухо моему папе, заставляет его умываться только холодной водой, чтобы он закалялся и был здоровым. Я воображал, как волны страха опережают ее движения по дому. Рассказы о киселе и рыбе казались мне примерами педагогической мудрости – что в каком-то смысле, возможно, и соответствует действительности. Но в гораздо большей степени эти рассказы говорили об авторитарном отношении взрослого к ребенку, основанном на безоговорочном признании незыблемых «истин»: взрослые всегда правы, всегда знают лучше, они всегда умнее, и поэтому их следует уважать и слушаться. Этот взгляд не учитывает того факта, что подобное послушание держится в гораздо большей степени не на уважении, а на страхе. Если не будешь слушаться, тебя накажут. Это не имеет ничего общего с большими знаниями или умом взрослого, а только лишь с тем, что взрослый физически сильнее и обладает большей властью. На самом деле все сводится к простой истине: сделай то, что я говорю, либо будь готов к последствиям своего непослушания. И ничего тут не поделаешь. Вместо уважения возникает страх, а страх *всегда* влечет за собой чувство протеста. Может ли это быть одной из причин того, почему некоторые из нас, повзрослев, часто жестоко обращаются со своими престарелыми родителями? Не пытаемся ли мы отомстить им за то, как они несправедливо обращались с нами, когда мы были маленькими?



Моя прабабушка Татьяна Познер, мать девятерых детей. Санкт-Петербург, 1912 г.

Высоко в горах Сванетии молодые люди, увидев старого человека, соскакивают с коня и ведут его под уздцы мимо и, только удалившись шагов на двадцать, вновь садятся в седло. Это не подчинение, а послушание, признак глубокого уважения к старикам в обществе, где с самого рождения ребенка *уважают*, признают в нем человека, в обществе, где опыт ценится выше чего бы то ни было, за исключением дара прозрения. Эти два качества находят свое самое яркое выражение в двух полюсах – старости и детстве, и благодаря этому общество живет в гармонии.

Было, возможно, что-то от сванов в отношении бабушки Перл к детям. Ей никогда не приходилось заставлять их – они мечтали выполнить любую ее просьбу, тем самым выказывая ей свою любовь. Бабушка Познер воспитала своих детей (и внуков) в подчинении авторитету. Они в свою очередь так воспитали своих детей. И мой отец так пытался воспитывать меня.



Моя тетя Лёля и мой отец, Санкт-Петербург, 1912 г.

Я никогда не узнаю, почему познеровская «прививка» оказалась в нем сильнее перловской. Но не сомневаюсь: где-то там, глубоко внутри, в нем сидел протест против того, как его довели до слез миской с киселем, как его вынудили съесть холодную, вчерашнюю рыбу. Во всем этом было что-то очень унижительное, а унижение всегда вызывает протест. Который, в свою очередь, нашел свое выражение в том, что отец пытался точно так же унижить меня. Ответить тем же своей бабушке он не мог, но должен был каким-то образом избавиться от жившего в нем с детских лет чувства униженности. Если бы я подчинился, если бы я не восстал, у нас, думаю, сложились бы иные отношения. Если бы я провел первые годы жизни – свои первые пять лет – в его присутствии, скорее всего я принял бы его авторитет, потому что вырос бы с этим. Но случилось иначе.

Первое мое воспоминание о конфликте с ним до смешного совпадает с его собственным опытом. Мне было лет шесть, папа только что демобилизовался и вернулся домой. Я его почти не знал. Мы ужинали, и мама приготовила салат из холодного вареного лука-порей. Я никогда прежде не пробовал этого деликатеса и теперь, посмотрев на него, решил, что он не нравится

мне – и сообщил об этом всем заинтересованным сторонам. Отец молча взглянул на меня, а потом тихо спросил:

– Что ты сказал?

Тон был почти нежный, в иных обстоятельствах я подумал бы, что он промурлыкал, а не проговорил свой вопрос. Но что-то насторожило меня. Тем не менее я повторил, что не хочу салата из лука-порея. Он сузил глаза до щелочек и почти шепотом произнес:

– Тебя не спрашивали, нравится тебе это или не нравится. Съешь.

Я вновь отказался. Дело закончилось тем, что я проглотил лук-порея, затем меня вырвало, и у меня случилась истерика. Прошло полвека, и я до сих пор не знаю, простил ли его. Может быть, простил, но гнев не прошел – гнев не за то, что он вынудил меня уступить силе, а за то, что мне *за него* стыдно. Как же мог он так поступить со мной?!

Много лет спустя, когда у меня появился собственный ребенок, я сделал ужасающее открытие: я унаследовал эту болезнь, эту заразу. Моя дочь плохо ела. Казалось, она вообще никогда не хотела есть, особенно пока была совсем маленькой. Кормить ее было сущим мучением. Она действовала подобно хомяку – закладывала ложку еды за щеку и сидела... и сидела... и сидела. Однажды – ей было лет пять – этот спектакль продолжался около двух часов, и я сорвался. Я вскочил, вырвал ее из-за стола, потащил в ванную комнату и отвесил ей пощечину. Она не издала ни единого звука. Просто уставилась на меня своими огромными темными глазами, а из носа потекла тонкая струйка крови. Это был последний случай, когда я попытался заставить ее подчиниться мне; сцена эта стоит у меня перед глазами по сей день, и каждый раз, вспоминая ее, я испытываю жгучее чувство стыда. Я хочу просить у нее прощения, я презираю себя и не могу избавиться от вины.

Отец, как мне кажется, никогда никакой такой вины не испытывал.

Мне шел восемнадцатый год, когда произошло то, что не могло не произойти. Это было в Берлине. Прихватив своего брата Павла, который младше меня на одиннадцать лет, я отправился гулять, пообещав, что вернусь не позже шести. По пути я встретился с какими-то приятелями, завернул вместе с ними попить пивка и в результате направился к дому с опозданием в два часа. Где-то на полпути мимо нас просвистела машина. Со страшным скрежетом она остановилась, отец выскочил из нее и побежал к нам. Его лицо побелело от ярости.

– Ты куда пропал, черт бы тебя побрал! – закричал он. – Твоя мать с ума сходит! Да не из-за тебя, кретина, а из-за твоего брата!

Если бы не это оскорбление, я, наверное, извинился бы за опоздание. А так просто пожал плечами, и отец, вне себя от возмущения, ударил меня. Не могу сказать, что сильно, во всяком случае, не помню, чтобы мне было больно. Но удар этот пробил ставшую совсем уже тонкой стену, до того момента удерживавшую накопившийся во мне протест. Меня прорвало. Я схватил отца за плечи, приподнял, встряхнул и изо всех сил отшвырнул от себя, да так, что он еле удержался на ногах – он упал бы, если бы не ударился о бок стоявшей рядом машины. Мы замерли, тяжело переводя дыхание, и уставились друг на друга, словно два боксера: каждый ждал, что предпримет другой. Первым овладел собой отец.

– Садись в машину, – сказал он Павлу, оцепеневшему от ужаса. Потом посмотрел на меня и бросил: – С тобой я еще разберусь.

Его способ разобраться выразился в том, что он перестал меня замечать. В течение нескольких недель он не разговаривал со мной. Потом, мало-помалу, жизнь пришла к чему-то, напоминавшему норму. Он никогда ни одним словом не напомнил о случившемся. Но с того дня между нами встало что-то. Это было не единственное событие, нас разделившее, да и не самое серьезное, но оно оставило след, рану, которая так до конца и не затянулась – даже несмотря на то, что за несколько лет до его смерти мы, наконец, все высказали друг другу и помирились.



У нашего дома в Карлхорсте. Берлин, 1952 г.

В русских сказках Иванушке-дураку приходится терпеть от царей страшные мытарства – например, нырять в кипящую воду, а потом в студеную. Выныривает Иванушка князем-красавцем, а царь-злодей, тоже желая обернуться статным молодцем, прыгает в кипяток и благополучно там сваривается, Иванушка же женится на царевне. В каком-то смысле Берлин был для меня и водой кипящей, и водой студеной. Нет, конечно, я не стал красавцем-молодцем, но я изменился, и процесс этот был крайне болезненным. Я потерял связь с привычным образом жизни, я потерял связь с отцом, и в чем-то я потерял себя. Вместе с тем Берлин сыграл ключевую роль, подготовив меня к будущему. Не знаю, как справился бы я с жизнью в Москве, не имея четырехлетнего берлинского опыта, не застряв в этой промежуточной точке, где правила игры принципиально отличались от тех, по которым я жил прежде, но были почти схожи с теми, по которым мне предстояло жить. Берлин закалил меня, обучил – не дидактически, как в школьном классе, а ежедневным опытом, встречами.

* * *

Из Нью-Йорка я уехал совершенно неопытным тинэйджером: у меня не было девушки, я ни разу ни с кем не целовался, не говоря о чем-то более серьезном. Так что к семнадцати годам я уже был готов к «сворачиванию».

Этим занялась жена одного из сотрудников «Совэкспортфильма», ни имени, ни фамилии которой не стану называть, несмотря на то, что ни ее, ни других работников скорее всего нет на свете. В свои тридцать с небольшим она была очень хорошенькой, кокетливой, муж ее целыми днями пропадал на работе, и она скучала. А тут под боком оказался привлекательный молодой человек, смотревший на нее влюбленными телячьими глазами. Во время каких-то каникул я каждый день заходил к ней домой, поскольку она договорилась с моим отцом, что будет учить меня русскому языку. В то утро она приняла меня в зеленом шелковом пеньюаре, плотно облегавшем ее соблазнительную фигуру.

– А знаешь ли ты, какой сегодня праздник? – спросила она, как только мы прошли в гостиную. – Я сказал, что не знаю. – Сегодня – Пасха, – пояснила она, выразительно посмотрев мне в глаза. Я принял это к сведению, но никак не отреагировал. – А ты знаешь, что в России положено делать на Пасху? – продолжала она. Я отрицательно покачал головой. – Положено сказать человеку «Христос воскрес», а он ответит «Воистину воскрес», и после этого друг друга целуют. – Я смущенно промолчал. – Ну, давай. Ты же хочешь быть русским, правда?

Я подошел к ней и пробормотал «Христос воскрес», на что она ответила «Воистину воскрес», и я робко поцеловал ее в щечку.

– Да не так! – сказала она. – А вот так, – и, обвив мою шею горячими голыми руками, поцеловала меня в рот, тут же проникнув туда языком. Что происходило дальше, я плохо помню. Словно Колумб, я оказался на возделанном и незнакомом материке, где делал все новые не совсем географические открытия.

Роман наш был столь же бурным, сколь кратким. Два или три раза мы встречались на квартире ее подруги, но не прошло и месяца, как моя пассия вызвала меня, чтобы сообщить о своей беременности. Когда я, горя любовью, предложил ей развестись с мужем и выйти за меня, она рассмеялась недобрый смехом и сказала:

– Пошел вон.

На этом закончились наши отношения.

* * *

Расскажу случай с Германом, молодым кагэбистом, с которым я учился в вечерней школе и подружился. Как-то я зашел к нему – он жил в поистине спартанских условиях – и застал его за разбором и чисткой пистолета. Я уставился на оружие с завистью и восторгом.

– Эх ты, дурачок, – сказал Герман, – помолись Богу, чтобы у тебя не было никогда оружия и чтобы тебе не пришлось делать то, что делаю я.

Тогда я впервые услышал что-то негативное о КГБ, и это произвело на меня особенное впечатление, так как было сказано человеком, там служившим. Я никому не рассказал об этом и помню, что стал испытывать некоторые сомнения.

Была еще одна история, когда я стал жаловаться дочери Верховного комиссара на то, что нас не пускают в СССР.

– А ты напиши товарищу Сталину, – посоветовала она.

– А разве он умеет читать по-английски? – удивился я. Она уставилась на меня, будто я допустил какое-то святотатство. Потом коротко хмыкнула и сказала:

– Ты и в самом деле иностранец. Конечно, товарищ Сталин знает английский. Иначе как бы он общался с Рузвельтом и Черчиллем? Товарищ Сталин *все* знает.

* * *

Речь здесь идет о дочери Верховного комиссара СССР в ГДР Владимире Семеновиче Семенове, впоследствии ставшем заместителем министра иностранных дел СССР. Ее звали Светланой, она была пресимпатичной девушкой и, как мне казалось, тяготилась своим положением: куда бы она ни отправлялась, ее повсюду сопровождала охрана. Ее отец, человек умный, талантливый, любивший искусство и превосходно игравший на рояле, отличался холодностью и высокомерием. Меня он сразу невзлюбил, считая, очевидно, что я имею какие-то подлые намерения в отношении его дочери. Намерения, возможно, и были, но не содержали ничего подлого. Со своей стороны, Светлана опекала меня, «бедного американца».

* * *

Я хотел возразить, что нет человека, который знал бы все. Но внутренний голос приказал мне заткнуться и оставить при себе сомнения относительно знаний товарища Сталина. Я не ощущал опасности, нет, я обожал Сталина не меньше, чем она. Но мое воспитание (западное?) не позволяло мне считать, что кто-то способен знать все. Почему же я не возразил? Из-за того, что в Берлине я стал получать и иное воспитание, преподавшее мне, причем весьма тонко, одну истину: если хочешь жить без проблем – молчи.

Еще один урок я усвоил в вечерней школе. Мы проходили советскую литературу, в частности «Мать» Горького и поэму Маяковского «Владимир Ильич Ленин», а также «Молодую гвардию» Фадеева. Выбор этих произведений был прежде всего идеологическим, это-то я понимал. Правда, в двух первых случаях речь шла о выдающихся писателях, хотя изучаемые произведения были далеко не лучшими среди их наследия. Но не в этом дело. По прочтении и обсуждению нам надлежало написать по каждому из них сочинение, при этом тема всегда формулировалась четко: «Горький как основатель социалистического реализма», «Образ Ленина в поэме Маяковского „Владимир Ильич Ленин“ и т.д. Предполагалось, что мы своими словами изложим то, что прочтем в учебнике и услышим от учительницы, что будем следовать прямой и определенной дорогой и не допустим никакой отсебятины, никаких вольностей.

Это были новые правила иной игры. И они подготовили меня к той игре, которая еще предстояла.

* * *

Я уехал из ГДР безо всяких сожалений. Более того, я поклялся себе, что ноги моей больше там никогда не будет. Правда, мне пришлось вернуться через шестнадцать лет, чтобы привезти домой отца, у которого случился инфаркт, когда они с мамой гостили у друзей в Дрездене. Но я не считал это новым приездом в Германию; он был вызван особыми обстоятельствами, хотя и не прошел для меня бесследно.

Папа лежал в больнице, я исправно навещал его, но это занимало всего два-три часа в сутки. В Дрездене я никого не знал и как-то решил пойти в Дрезденскую галерею, о которой был наслышан. Я пошел туда как бы вынужденно: делать нечего – ладно, пойду. Если бы эта галерея вдруг приехала в Москву, я точно не пошел бы. Бред... Но разве все наши анти-то и анти-сё – не бред? Разве все наши предрассудки – не бред?

Словом, пошел. Я знал, что самой знаменитой картиной этого музея является «Сикстинская Мадонна» Рафаэля Санти, и решил: дай-ка проверю, такая уж ли она замечательная. Подобный скепсис мне свойствен, когда речь заходит о каких-либо всемирно восхваляемых вещах. Мне всегда хочется самому «пощупать» прежде, чем согласиться. Так произошло с «Джокондой». Видал я сто пятьдесят восемь тысяч репродукций, и ни одна не произвела на меня никакого впечатления. «Вот ведь, – думал я, – до чего легко люди поддаются влиянию авторитетов! Ведь картина-то – ничего особенного».

Приехав в Париж в 1979 году, я первым делом отправился в Лувр, чтобы собственными глазами увидеть «Джоконду» и убедиться в своей правоте. Народу было как на первомайской демонстрации, особенно японцев; они шли плотными группами, следуя за высоко поднятым экскурсоводом флажком. Но вот толпа схлынула, и я оказался с Джокондой лицом к лицу. Мы уставились друг на друга, и я, абсолютно не ожидая этого, зарыдал. От счастья. От того, что я заблуждался. От того, что она была невыразимо прекрасная, совершенно недосягаемая и непостижимая. От того, что Леонардо да Винчи и в самом деле гений.

Но это было много позже. В Дрездене я пошел в зал, в конце которого, отдельно от всех остальных картин, висела «Сикстинская Мадонна». Встал перед ней и долго-долго смотрел. И ничего. Ни мороза по коже, ни учащенного биения сердца, ни слез на глазах. Так у меня бывает почти со всеми картинами Рафаэля. Как ныне говорят – не цепляет...

Отправился дальше и попал в зал Рубенса. Его я никогда не любил. Эти пышные тела, лоснящиеся от жира, эти несуразного размера куски мяса, рыбы, эти овощи – мечта мичуринцев – все это не мое. Ничего хорошего от встречи с Рубенсом я не ждал.

Вошел в просторный зал, стены которого увешаны его громадными картинами, посмотрел налево и... замер. Там висела картина «Леда и Лебедь». Не будь это работа гения, ее можно было бы назвать порнографией: чувственность, с которой Рубенс изобразил, как Зевс овладевает Ледой, возбуждает. От картины идет густой женский запах, слышны стоны... Я был потрясен. Придя в себя, я посмотрел направо и вновь остолбенел: «Пьяный Геракл» – так, кажется, называлась та картина. Огромного, полубогажненного и пьяного в стельку Геракла поддерживают дева и сатиры. Они сгибаются под весом повисшего на их плечах Геракла. От его тела идет ощутимый жар, влага на его красных, полуоткрытых губах настолько реальна, что хочется стереть ее платком. Он смотрел на меня бычьими, ничего не видящими глазами, и я стоял молча, боясь дышать, понимая, что если он меня заметит, мне несдобровать.

Так я открыл для себя Рубенса. Может быть, открою когда-нибудь и Рафаэля...

Но вернусь к отъезду: я уехал из Германии, твердо решив никогда больше туда не возвращаться. Ни в ГДР, ни в ФРГ, потому что дело было не в политике. Эта страна не только повинна в двух мировых войнах и в смерти десятков миллионов людей, но и совершила самое страшное преступление из всех возможных – попыталась уничтожить целый народ. Тщательно подготовилась к этому, без лишней эмоций, без всякой страсти. Все рассчитала: наиболее эффективный способ убивать, сохраняя при этом то, что может быть полезно – золотые коронки зубов убитых, их волосы, кожу для создания абазуров и сумочек, детские пинеточки, лобные украшения. И тщательно наблюдала за уничтожением, за убийством, за медицинскими «опытами», документально фиксируя все это на пленке, на бумаге. Уж сколько прошло лет, а я пишу это, и во мне поднимается такая волна ярости, что могу вот-вот разорваться на части.



Моя дочь Катя Чемберджи. Берлин, 2002 г.

А прояс: я никогда не пойму, как евреи – это касается в основном российских евреев – могли и могут эмигрировать в Германию. Мне так и хочется спросить их: «Ну как?! Неужели вы забыли, что они отправляли в газовые камеры ваших бабушек и дедушек? Неужели пепел Клааса не стучит в ваших сердцах?!» Только не подумайте, что я осуждаю эмиграцию из СССР. Напротив, я всегда выступал за право любого человека (не только евреев) уезжать куда хочется. Но евреям – в Германию? Это уму непостижимо!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.